

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS
ALUSTATUD 1893. a. · · · · · VIINIK 425 ВЫПУСК · · · · · ОСНОВАНЫ в 1893 г.

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ
XXIX
СЕРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ
И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ



ТАРТУ 1977

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS
ALUSTATUD 1893. a. VIIRIK 425 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ В 1893 г.

**ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ
XXIX
СЕРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ**

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ
И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ**

ТАРТУ 1977

Редакционная коллегия:

Б. М. Гаспаров, Е. И. Гурьева, П. С. Сигалов, М. А. Шелякин (отв. редактор)

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ОПИСАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ (1)

М. А. Шелякин

I

Большинство бытующих системно-структурных описаний грамматических категорий, как они даны в современных теориях оппозиций, имеет в целом формально-логическую основу в ее двузначной разновидности. Это выражается прежде всего в способах представления и организации типов оппозиций и в их истолковании. Выделение привативных и эквиполентных оппозиций, интерпретация их членов как маркированных и немаркированных — все это предполагает установление бинарных отношений между соположенными значениями, составляющими содержание грамматической категории.

Однако на проверку оказывается, что обычно принятая версия теории бинарных отношений сама страдает существенными логическими недостатками и не может претендовать на раскрытие механизма системно-структурной организации грамматических категорий. Суть этой версии заключается, как известно, в признании асимметрии, неравноправности морфологических корреляций, когда одна форма (например, *телка*) сигнализирует признак А, а другая — оставляет его невыраженным (например, *теленка*), «т. е. не говорит ничего о том, присутствует ли А или нет» (48/74—75), что, в свою очередь, ведет к «антиномии не-сигнализирования признака А и сигнализирования признака не-А» (48/83—84). Таким образом, в грамматической оппозиции «один и тот же знак может иметь два разных значения: в одном случае какой-то определенный признак (А) остается неотмеченным, то есть его наличие ни утверждается, ни отрицается; в другом же случае наличие отсутствие этого признака. Например, слово *теленка* может обозначать или вообще детеныша коровы, безотносительно к полу, или же только бычка» (48/83—84).

Из приведенных высказываний следует, что один член морфологической корреляции на уровне анализа общих значений

может быть только нейтральным к выражению данного признака, а на уровне анализа общего и частного значений — нейтральным и отрицательным, т. е. суженным до указания на признак, противоположный маркированному: «Общее значение маркированной категории состоит в утверждении наличия некоторого (положительного или отрицательного) свойства А; общее значение соответствующей немаркированной категории состоит в отсутствии утверждения относительно наличия А; она употребляется главным образом, хотя и не исключительно, для указания на отсутствие А. Немаркированный член всегда является отрицанием маркированного, однако когда речь идет об общем значении данной категории, это противопоставление может быть интерпретировано как «утверждение А — отсутствие утверждения А», тогда как на уровне более узких, специализированных (*nuclear*) значений мы имеем дело с противопоставлением «утверждение А — утверждение не-А» (46/102—103).

Непоследовательность и противоречивость этих рассуждений здесь очевидны: в одном случае один и тот же член морфологической корреляции считается только нейтральным к признаку, в другом случае он семантически «расщепляется» на два значения (нейтральное и отрицательное), не имея на то никакого основания. Хотя такое «расщепление» объясняется «лишь одним из употреблений данной категории: это значение (отрицательное — М. Ш.) обусловлено ситуацией» (48/74), оно на самом деле опирается на парадигматическую двусмысленность знака: слово *теленки* может обозначать или вообще детеныша коровы, безотносительно к полу, или же только бычка, а не телку.

Чтобы снять, видимо, указанную противоречивость, последователи Р. Якобсона несколько видоизменили его первоначальную концепцию, исходя из логичного предположения о возможности нейтрального (немаркированного) члена оппозиции употребляться и в значении маркированного (положительного) члена. Такое допущение содержится уже у Р. Якобсона: говоря о том, что нейтральный член грамматической оппозиции пренебрегает определенным признаком маркированного члена, он приводит следующий пример: «молодая корова (нем. *Färse*) может быть названа как телка, так и теленок» (48/83). Однако, как отмечает Т. В. Булыгина, если Р. Якобсон вообще довольно сдержанно говорит о подобной субституции, то, например, М. Докулил считает ее необходимым условием оценки нейтрального члена как беспризнакового (8/110—111). Поэтому после работ Р. Якобсона стали обычными следующие формулировки «неотмеченного» члена оппозиции: «Общая грамматическая семантика этой формы (имперфективного презенса — М. Ш.) чисто отрицательная — презенс *нс/в* не выражает неактуальности. Вот почему форма типа *он бросает* может быть использована и для выражения актуальности, и для выражения неактуальности» (20/448), «Несовершенный вид, в силу неопределенности,

неквалифицированности своего общего значения может употребляться также и при передаче тех значений, которые вполне соответствуют семантике совершенного вида. Потенциально несовершенный вид способен называть любые действия» (36/7), «Глагол несовершенного вида может не содержать указания на то, доведено действие до предела или нет. Именно поэтому возможно употребление одного и того же глагола несовершенного вида для обозначения действия в его пределе и действия безотносительно к пределу... Поэтому глагол несовершенного вида можно считать семантически «неотмеченным» (14/338). Нет нужды множить примеры подобных высказываний. Все они сводятся к признанию того, что один из членов грамматической оппозиции игнорирует признак другого члена, представляя собой неинформативный «нуль», который в зависимости от контекста (в интерпретации Р. Якобсона и др.) или в любом случае (в интерпретации Исаченко) может быть употреблен в положительном и отрицательном значениях по отношению к маркированному члену.

Исаченко в одной из своих статей особо отмечает, что «слабый член» оппозиции и «нулевая категория» — это не одно и то же, что «формы типа *открывать* (несоверш. вид) не являются просто «безвидовыми» или в отношении глагольного вида «нейтральными», как, например, английский глагол *to open* или немецкий глагол *öffnen* «открыть/открывать» (21/31). Однако, несмотря на понимание им грамматической оппозиции как выраженности/невыраженности определенного признака — понимание, которое как будто определяет семантическую зону «слабого» члена, т. е. способность выражать и то, что выражает «сильный» член, и то, что отрицает последний, а не простое отсутствие утверждения/отрицания признака, его обобщающие формулировки и семантические характеристики отдельных «слабых» членов свидетельствуют о постулировании грамматического «нуля». Ср. следующие положения Исаченко: «Слабый член грамматической оппозиции данную внеязыковую сущность **игнорирует** (подчеркнуто Исаченко — М. Ш.): реальная нерасчлененность такого денотата, который обозначается словом *лист*, получает то же грамматическое оформление, что и реальная расчлененность («комплексность») денотата, который обозначается словом *листва*. Из этого вытекает, что слабый член грамматической оппозиции своим значением (десигнатом) непосредственно никак не связан с внеязыковой действительностью, не «отражает» и не «стилизует» ее. Грамматическое значение слабого члена оппозиции и следует признать «чисто реляционным» или «внутриязыковым» (21/40). Трактовка «слабого» члена как «чисто реляционного» ставит его значение «невыраженности» данного признака в зависимости от отношения в системе, что и подчер-

кивает несамостоятельный, нулевой характер семантики такого члена. Поэтому представляется не совсем точной следующая характеристика Т. В. Булыгиной немаркированного члена в концепции Р. Якобсона, если придать слову «включение» строгое логическое содержание: «... в то время как первая (коррелятивная грамматическая категория — М. Ш.) выражает определенный позитивный признак, другая оставляет его невыраженным, т. е. включает в свое значение как обладание этим признаком, так и его отрицание (эти частные значения беспризнаковой категории всецело определяются контекстом)» (7/221).

Включение в свое значение и обладание и отрицание признака вряд ли совместно с «несигнализацией», «невыраженностью», с тем, что форма «не говорит ничего о том, присутствует ли А или нет». В одной из своих поздних работ (1972 г.), специально посвященной общим вопросам свойств языка и его структуры, Р. Якобсон, указывая на универсальность противопоставления «отмеченность» признака/«неотмеченность» признака для любой лингвистической системы, иллюстрирует это положение следующим примером из области грамматики: «... в такой грамматической оппозиции, как прошедшее/настоящее первое отмеченное время указывает на то, что событие, о котором говорится, предшествует акту речи, тогда как общее значение неотмеченного настоящего времени не несет информации об отношении между известным событием и речевым актом. Специфичность значения времени зависит от контекста. Сравним, например, разные контекстуальные значения одной формы настоящего времени в четырех предложениях: *Весна начинается сегодня, Его новое путешествие начинается через год, Со смертью Цезаря начинается новая эра для Рима, Жизнь начинается в пятьдесят лет*» (47/117). В этом примере показано употребление формы настоящего времени в контекстах всех времен и всевременности, что не позволяет усматривать в «неотмеченном» члене включение каких-либо значений по какому-нибудь признаку.

Понимание двузначности немаркированного члена характерно для других концепций грамматических оппозиций (о чем см. ниже), а к теории Р. Якобсона скорее всего применимы другие слова Т. В. Булыгиной, сказанные ей в той же цитируемой статье по поводу аналогии немаркированного члена фонологическому понятию архифонемы: «... немаркированный член морфологической корреляции отличается от маркированного лишь большим объемом значения (видимо, точнее было бы: отсутствием значения — М. Ш.), не сообщая ничего ни о присутствии, ни об отсутствии данного семантического признака. Другими словами, «общее значение» беспризнаковой категории аналогично не беспризнаковой фонеме, а архифонеме» (7/224), т. е. когда, по Н. С. Трубецкому, «в качестве действительных (релевантных) остаются только признаки, являющиеся общими для

обоих членов оппозиции (иными словами, основание для сравнения в данной оппозиции)» (40/87).

Логическим завершением концепции «нулевого» члена в грамматической оппозиции можно считать предложенную недавно А. М. Ломовым аддитивную модель функционально-семантического взаимодействия грамматических форм и контекста (27). Ссылаясь на Р. Якобсона, подчеркнувшего, что в привативной оппозиции «нечто» противопоставляется «ничему» и справедливо усмотрев парадоксальность признания грамматического «нуля» наряду с серией его частных значений, А. М. Ломов предлагает отказаться не от понятия нулевого члена противопоставления, а от его частных значений (как вариантов инварианта), которые, по его мнению, на самом деле являются контекстными средствами соответствующей «грамматизации» слова с его неинформативной, «нулевой» грамматической формой. При этом считается, что не существует ни одного контекстного значения, которое было бы способно контактировать исключительно с семантикой информативного члена и не реализоваться при употреблении нулевого члена, т. е. последний действительно является семантически опустошенным и свободным от всякого противопоставления. Затем предлагается рассматривать контекстные значения, совместимые со значениями (?) обоих членов, в частности, обоих видов (несовершенный вид называется аспектуальным нулем), и контекстные значения, несовместимые со значением информативного члена, в частности, совершенного вида, ибо только неинформативность одного члена допускает контактирование со значениями, несовместимыми со значениями информативного члена. «Во всех случаях такого контакта аспектуальная характеристика действия определяется исключительно контекстом» (27/62). В конце концов оказывается, что если есть какое-либо противопоставление (взаимоисключение) грамматизации слова, то оно осуществляется лишь контекстуальными средствами, а сама грамматическая категория, например, вид «предстает как узкоспециализированная система грамматической актуализации лишь одного (подчеркнуто А. М. Ломовым — М. Ш.) из возможных аспектов действия — система, особым образом согласованная с комплексом неграмматических (контекстуальных) средств, передающих другие — действительно гетерогенные — аспекты глагольного действия» (27/64). Иначе говоря, грамматическая категория как гомогенная категория может состоять лишь из одного грамматического значения, которое особым образом системно согласуется с гетерогенными контекстуальными значениями. В таком случае мы, конечно, не можем говорить о системной организации самой грамматической категории, об оппозиции ее инвариантных значений, так как система предполагает взаимоотношение по крайней мере двух элементов, а в общем плане — не можем говорить о наличии данной грамматической категории.

Разумеется, нельзя не допустить, что А. М. Ломов пришел к изложенным положениям в результате аргументированного опровержения других концепций грамматических оппозиций. Однако такое допущение оказывается ошибочным. В его теории прежде всего бросается в глаза несостоятельность двух основных посылок, призванных оправдать трактовку несовершенного вида как «нулевого» члена противопоставления: «Эта дефиниция, восходящая к А. А. Шахматову и А. М. Пешковскому, во-первых, учитывает уроки прошлого, свидетельствующие о невозможности сведения всех конкретных употреблений несовершенного вида к общему «положительному» знаменателю, и, во-вторых, вполне удовлетворительно объясняет случаи импликации (т. е. проникновения несовершенного вида в сферу обычного употребления совершенного вида), что является, как известно, камнем преткновения для самых разных объяснительных моделей видовой категории (27/57).

В лингвистической литературе уже давно была высказана мысль о том, что инвариантные значения грамматических категорий нельзя сводить к обобщенному знаменателю всех синтагматических употреблений данной формы (см. об этом: 8/109—110; 15/158—159; 43/13—14; 24/59 и др.). Случаи же импликации ряд языковедов объясняет явлением нейтрализации (см., например. 4; 17), которая игнорируется А. М. Ломовым.

В аддитивной модели А. М. Ломова обращает на себя внимание также явное смешение лексических и грамматических значений, искусственное переосмысление принятых в аспектологии грамматических понятий в лексико-семантическом плане. Так, частные значения несовершенного вида — конкретно-процессное и «констатирующее» (в аспектологии оно соответствует постоянно-непрерывному) интерпретируются им как собственные только непредельным глаголам: «... любой намек на возможное завершение действия вступает в противоречие с самой идеей процессуальности... по-русски нельзя ответить на вопрос: *Что он сейчас делает?* фразой типа: *Он прочитывает газету*. Здесь употребляется соответствующий бесприставочный глагол *читает*» (27/62), «... в констатирующем значении (типа: *дом выходил окнами в поле* — М. Ш.) обычно употребляются глаголы, неспособные отражать поступательное развитие событий. Это скорее знаки отношений, которые существуют между предметами и явлениями объективной действительности» (27/63). Но ведь в аспектологии под конкретно-процессным значением понимается грамматическое значение, стоящее «выше» лексического: на вопрос *Что он сейчас делает (делал) будет делать* в какой-то определенный момент? отвечают и глаголы с сильным целевым значением: *Он перепечатывает статью, вырезает фигуру* и т. д. (форма «прочитывать» в значении единичного действия просто отсутствует в системе). Это касается

и «констатирующего» значения, которое свойственно не только глаголам со значением «знаков отношений», но и эволютивным глаголам типа: *земля вращается вокруг солнца, эта река течет на юг* и т. д.

Наконец, следует отметить весьма спорное положение А. М. Ломова о том, что не существует ни одного контекстного значения, которое было бы способно контактировать исключительно с семантикой информативного члена и не реализоваться при употреблении грамматического «нуля». Ведь сам А. М. Ломов признает, что, например, «результативность контактирует с семантикой (?) несовершенности очень редко и при узком круге глаголов» (27/60). А главное — все зависит от понимания и выделения контекстных значений: почему так называемое «нулевое» значение уже совершенного вида, когда оно употребляется в не осложненном контекстном окружении (типа: *он посмотрел вслед мальчику, я его позову* и т. д.) А. М. Ломов не относит к контекстным значениям, хотя и рассматривает его в ряду «контекстных значений, совместимых со значениями (?) обоих видов»? Ничто не мешает превратить «нулевое» значение совершенного вида в какое-то положительно характеризующее контекстное значение, и тогда оно столкнется с невозможностью сочетаться с несовершенным видом.

Если осмыслить изложенные модели грамматических оппозиций, постулирующие в качестве одного члена грамматический «нуль», в формально-логическом отношении, то они не оправдываются никакими понятиями и законами двузначной логики.

В случае понимания грамматического «нуля» как лишённого какого-либо значения, он представляет собой пустой класс (понятие с пустым объемом), признаки которого не могут принадлежать никаким предметам. Ясно, что такой класс не вступает ни в какие отношения с непустыми классами, так как содержание пустого по объёму понятия включает в себя как часть содержание любого другого понятия (12/248).

В случае понимания грамматического «нуля» как невыраженности определенного признака, он представляет собой понятие вида «предмет *x*, имеющий некоторое свойство *P* и не имеющий его». Такое понятие также является понятием с пустым объемом, только в нем пустота объема обусловлена логической структурой высказывания, в форме которого выражается содержание понятия (в пустом понятии это высказывание противоречиво) (см. 12/247).

Наконец, грамматический «нуль» можно понимать как родовое понятие, по отношению к которому маркированный член оппозиции является видовым (так обычно интерпретируется импликация при привативных оппозициях). Однако в связи с тем, что видовые понятия представляют собой особенное в чём-то общем, модификацию предметов рода, оно не может быть самостоятельным по отношению к родовому понятию и вы-

водимым из последнего. А это, в свою очередь, означает, что бинарная оппозиция род/вид логически несостоятельна, ибо она не отвечает правилам деления объема понятия (деление должно быть соразмерным и члены деления должны исключать друг друга), не раскрывает каких-либо системных отношений. Противопоставление рода и вида допускается лишь в абстракции и проявляет себя в известном законе обратного отношения между объемами и содержаниями понятий, который предполагает операции с уже выделенными видами и родом и полезен для определения специфики родовых и видовых значений. Причем, необходимо иметь в виду, что «всякий род имеет не менее двух видов. Если понятие $xA(x)$ представляет вид предметов некоторого рода, то этот род имеет также вид, представляемый понятием $x\bar{A}(x)$ » (12/233). Следовательно, если строить грамматическую оппозицию с родовым значением, то нужно постулировать по крайней мере еще два противоположных члена.

II

Другая версия теории неравноправности коррелятивных значений в бинарной оппозиции связана со стремлением придать одному из членов (немаркированному) оппозиции определенную двузначность, которая представляет собой синкретизм двух противоположных значений (положительного и отрицательного). Несомненно, что такая интерпретация немаркированного члена связана с одной стороны, с поисками логического обоснования самого понятия значимой оппозиции, и, с другой стороны, с преодолением «нулей» в фонологии, которая, как известно, всегда была «поставщиком» принципов и методов системно-структурного описания языка. Так, И. К. Букина, считая обязательным для немаркированного члена корреляции указанный синкретизм — «... содержание его совершенно определено: оно складывается из суммы положительного и отрицательного значений того признака, который лежит в основе противопоставления граммем» (10/31), специально отмечает, что «наличие положительного значения в ее (неотмеченной граммеме) содержании тоже обязательно, но недостаточно, чтобы можно было констатировать, что данная граммема образует корреляцию с граммемой, характеризующейся наличием в ее составе только положительного значения признака» (10/31).

Что касается положения дел в фонологии с интересующей нас проблемой, то оно обобщающе отражено в следующих словах: «Если оставить в стороне трактовку понятия немаркированности как невыраженности признака, мало популярную в фонологии, и трактовку немаркированности как отсутствия признака, имеющего лишь исторический интерес, то для современного состояния фонологии следует признать релевантным определение

немаркированности как отрицательного значения признака» (33/177). Но что такое отрицательное значение признака в фонологии? Каковы бы ни были процедуры его определения, оно онтологически (фонетически) всегда содержательно, ср. предложение А. А. Реформатского заменить «пражскую» формулу $a - a + 1$ формулой $a - a \pm 1$ (39), чисто функциональное понимание маркированности/немаркированности у Л. В. Бондарко (6), истолкование гиперфонемы у В. А. Виноградова (11) и др.

В соответствии с фонологической трактовкой отрицательного значения признака находится и трактовка отрицательного значения в морфологии: «Слово *теленки* образует корреляцию со словом *телка* по признаку пола. Положительным значением признака будет «особь женского пола», отрицательным — «особь неженского пола, т. е. мужского пола» (10/30). Таким образом, отрицательное значение в морфологии является противоположным (антонимичным) положительному значению, и синкретизм немаркированного члена — это, по сути дела, омонимия формы. Об этом так и пишет И. И. Ревзин: «... немаркированным в противопоставлении А/не-А является по определению член, могущий иметь оба значения (как А, так и не-А), а маркированным является по определению член, имеющий только значение А» и «поскольку немаркированный член имеет оба значения, то можно представить его как совмещение двух грамматических омонимов и разграничить эти омонимы» (37/103). Подобное понимание немаркированного члена как совмещающего два противоположных значения встречается и в статье Е. И. Зарецкой, опирающейся на несколько по-своему трактуемую теорию Р. Jakobsona: «Необходимым... условием появления немаркированного (—) члена оппозиции является полная группа значений: если II, то А или не-А ($II \rightarrow A$ или не-А) (19/49).

Каким же образом доказывается отмеченная двузначность одного из членов грамматической оппозиции? И. К. Бунина, рассматривая пример Р. Jakobsona — *телка* — *теленки*, считает, что «немаркированным членом противопоставления выступает слово *теленки*, которое в совместном употреблении (т. е. со словом *телка* — М. Ш.) всегда принимает отрицательное значение признака, т. е. значение «особь мужского пола», но в изолированном употреблении может принимать и отрицательное, и положительное значения. Хотя мы, действительно, только из контекста узнаем, какое именно значение принимает немаркированная форма, в данном случае *теленки*, тем не менее два противоположных значения выделяются в содержании этой формы в качестве частных грамматических, а не контекстных значений, благодаря тому, что есть слово *телка*, которое принимает всегда только одно значение» (10/30). Здесь допускается существенная неточность в анализе значения слова *теле-*

нок, исходящая из забвения одного из основных семантических особенностей знака — не отношение знака к денотату задает обозначение, а смысл однозначно определяет номинацию предмета. Слово *теленки* без контекстуальной поддержки (вроде «побежал теленок женского пола...») никогда не дает информации об «особи женского пола», но дает только информацию либо об «особи мужского пола», либо о «детеныше» без отношения к полу (ср. подобные отношения: *ребенок* — *мальчик/девочка*, *человек* — *мужчина/женщина*). Слово *теленки* действительно двусмысленно: оно совмещает значения «детеныша» и «детеныша мужского пола». В последнем значении оно заменило закономерное *телок* при *тёлка*: ср. в слов. Даля — *телок/телка* при *теленки* (в значении только «детеныша»).

В качестве немаркированного (омонимичного) члена оппозиции И. И. Ревзин приводит форму существительных с *Singularis*, — «сочетание формы ед.ч. со значением множественности и отсутствием неопределенности» (37/105), ср. *студенчество*. С этим трудно согласиться. Особенность собирательных существительных состоит в том, что в них совокупность (множество) отдельных предметов мыслится как один предмет, как одно целое, по отношению к которому высказываются какие-либо суждения (*советское студенчество выступает за дружбу между народами*). Между тем формы мн. ч. указывают или на разделительную множественность, или на разделительную собирательность, и какие-либо суждения о них относятся к отдельным предметам, составляющим такие множества (ср. *столы в комнате были накрыты скатертями* и *студенты первого курса сдали все экзамены*). Следовательно, *студенчество* не заменяет *студенты* (в разделительно-множественном или разделительно-собирательном значении) и является не омонимом, а формой со значением нерасчлененности по отношению к множеству, т. е. совмещает нерасчлененность и расчлененность.

Несколько иначе рассуждает Е. Н. Зарецкая о положительном/отрицательном значениях немаркированного члена, ставя их появление в зависимость от контекста. Так, в предложениях типа: «Я затыну, а вы не отставай» (Крылов), «Ну ребята, — сказал комендант, — теперь отворяй-ка ворота» (Пушкин) автор статьи видит в форме ед. ч. значение мн. ч., а в предложениях типа: «Не умели Вы с хорошими людьми жить, так на себя пеняй» (А. Островский) — значение «вежливости» в форме без *-те* (19/50). Хотя и говорится при этом, что подобное употребление статистически встречается редко, суть дела опять-таки заключается в принципиальном вопросе: действительно ли в приведенных примерах формой ед. ч. выражается значение мн. ч., а формой без *-те* выражается значение «вежливости»? Конечно, нет. Употребление формы ед. ч., параллельное употреблению формы мн. ч., объясняется здесь тем, что в контекстах идет речь о собирательном значении, которое может быть обо-

значено в русском языке двумя формами грамматического числа. Ср. невозможность взаимозамены в предложениях типа: «Ученики, не отставайте от меня», «Дети, идите гулять». Что касается значения «вежливости» в «так на себя пеняй», то оно на самом деле является «невежливым», если не считать это выражение фразеологизмом.

Последовательное применение понятия двузначности немаркированного члена привело Е. И. Зарецкую к использованию в качестве доказательства даже художественных тропов. Возражая тем, кто полагает, что формы русского императива на *-ем* выражают «личный» адресат, она считает граммему личности/неличности адресата нерелевантной на основании следующих примеров: «Мой правый берег, навсегда прости!», «Эй, зима, завьюжем-ка дороги!», «Разлейтесь, реки; раздвиньтесь, горы!» Это все равно, что в известном обращении Гаева из «Вишневого сада» «Мой глубокоуважаемый шкаф...» видеть доказательство нерелевантности граммеы одушевленности/неодушевленности для русских существительных.

Основной недостаток теории двузначности немаркированного члена заключается в перенесении всех значений контекстов на парадигматическое значение формы, в отсутствии установления взаимных отношений членов морфологической корреляции: с логической точки зрения корреляция омонимичной формы с двумя противоположными значениями и формы с одним значением распадается на три члена, два из которых одинаковы по содержанию и значит избыточны.

III

В предыдущих разделах статьи были рассмотрены теории бинарности грамматических оппозиций, опирающиеся на признание семантической асимметрии морфологических корреляций. Однако в современном языкознании встречаются взгляды на бинарные оппозиции, не связывающие выделение немаркированного члена с его нулевым или двузначным содержанием. В таком случае за основу берется, вслед за некоторыми представителями копенгагенской школы (К. Тогебю и др.), функциональный критерий: область употребления маркированного (интенсивного) члена уже, чем область употребления немаркированного (экстенсивного) члена. В зарубежном языкознании этот критерий использует, например, голландский языковед А. А. Барентсен при описании русских категорий вида и времени. В результате он строит контрарикторное отношение между маркированным членом, указывающим на одну, хорошо определенную часть семантического пространства морфологической категории, и немаркированным членом, указывающим на все остальные части этого пространства, замечая, что «по сути дела, в качестве маркированного члена выбирается тот, кото-

рый лучше всего поддается определению. При интерпретации маркированный член допускает меньше возможности, чем немаркированный» (3/10—11).

Еще раньше подобным же образом предлагал истолковывать оппозицию маркированного/немаркированного членов в советском языкознании Л. С. Бархударов. На основании наблюдений над весьма широким и неопределенным употреблением одного из членов оппозиции, не поддающимся семантическому обобщению в положительных терминах, Л. С. Бархударов полагает, что семантическая характеристика такого члена может быть дана только отрицательно: «С нашей точки зрения, немаркированная форма должна определяться отрицательно, как выражающая значение, *противоречащее* значению маркированной формы (нестрадательность, непродолжительность, непрощедшее и т. д.)» (2/99, сноска 6).

В данной концепции опять-таки наблюдается включение всех контекстуальных употреблений формы в ее общее значение. Поэтому, разумеется, при определении значений членов грамматической оппозиции обращаются к понятию контрадикторных отношений, основанному на дихотомии объема понятия. Как известно, дихотомии в логике отводится довольно скромная роль: она выступает лишь как вспомогательный прием в ходе предварительной наметки классификации, но не может служить средством установления взаимных отношений. При контрадикторных отношениях один из его членов всегда остается неопределенным и не выводимым из другого. Таким образом, подведение грамматических оппозиций под контрадикторные отношения приводит к признанию системы, состоящей из одного элемента, ибо другой элемент в силу своей семантической неопределенности служит только фоном для противопоставления, но не образует само противопоставление. К тому же, контрадикторная модель грамматических оппозиций не обладает объяснительной силой для понимания функционирования грамматических форм: широта и неопределенность одной из них не предсказует правил ее употреблений.

IV

Примерно с начала 60-х годов в советском и зарубежном языкознании появляются работы, в которых, по аналогии с фонологическими концепциями, используется понятие нейтрализации грамматических противопоставлений. К ним относятся, например, работы А. М. Мухина (31), Т. В. Булыгиной (9), К. И. Ходовой (42), Е. И. Шендельс (44), А. В. Бондарко (4), А. Мартине (29), М. Деяновой, А. Минчевой, Д. Станишевой (16), М. Докулила (17) и др.

В ряде из них, как и в фонологии, авторы исходят из того положения, что само понятие оппозиции предполагает явление

нейтрализации, которое служит объективным критерием установления оппозиции. Ср. мнение фоолога: «... целесообразно определять как дифференциальный лишь такой признак, который в определенных позиционных условиях подвергается нейтрализации... Но следует указать не только на самый факт нейтрализации, но и на то, что без нейтрализации невозможно определить, какой из признаков является дифференциальным» (23/207). Ср. мнение грамматистов: «Нейтрализация смысло-различительного противопоставления морфем свидетельствует о наличии особенно тесной связи между противопоставляемыми функциональными единицами (членами одной и той же категории)» (31/55), «Потенциальная основа нейтрализации заложена уже в самих оппозициях» (44/16).

В других работах подчеркивается, что через явление нейтрализации можно определить особый, привативный, тип грамматической оппозиции. Однако одни исследователи видят в позиции нейтрализации проявление импликации как включения в семантический объем одного члена значения другого члена: «... нейтрализацию видового противопоставления мы связываем с импликацией, т. е. с расширением семантической сферы несовершенного вида за счет совершенного и включением в компетенцию несовершенного вида тех функций, которые в других условиях выполняются совершенным видом» (4/232) и далее: «явление нейтрализации видового противопоставления в процессе функционирования языка... подтверждает характеристику этого противопоставления (в языковой структуре) как привативного, имеющего семантически маркированный и немаркированный член...» (4/233). Подобной точки зрения придерживается М. Докулил со ссылкой на Е. Кржижкову: «В сфере глагольных морфологических категорий нейтрализация осуществляется главным образом в плане содержания (значения), когда беспризнаковый член употребляется вместо признакового» (17/15). Все это возвращает нас к Якобсоновскому «теленку», который якобы может иметь значение признаковой «телки» только с одним отличием: такое употребление свойственно лишь в позиции нейтрализации.

Иную позицию занимает в данном вопросе Т. В. Булыгина. Исходя из представления о грамматической оппозиции как репрезентирующей системные отношения взаимозависимости, предопределенности членов оппозиции друг через друга, она предлагает описывать семантическую структуру двух граммем при помощи универсальной схемы « $+V-$ » (где « V » является знаком логической дизъюнкции), независимо от того, является данная оппозиция нейтрализуемой или ненейтрализуемой, т. е. «привативной» или «эквиполентной», в смысле Трубецкого, и замечает, что «признание наряду с «привативными» оппозициями, символизируемыми при помощи формулы $ap \sim a\bar{p}$ (что соответствует формуле « $+V-$ »), «эквиполентных» оппозиций,

противоречит признанию тезиса о системности языка, из которого следует, что существенным в языке являются только взаимно соотносительные элементы. Ибо если $m \neq \bar{m}$, то m и \bar{m} являются взаимно независимыми, и единицы, содержащие эти элементы, определяются «из самих себя» (7/219). При этом одной из альтернатив «можно считать, что отсутствие определенного дифференциального признака эквивалентно присутствию противоположного признака, так что оба члена оппозиции — граммема, включающая в свой состав позитивный признак, и граммема, содержащая негативный признак, — семантически равноправны. Поэтому выбор того или иного признака в качестве «марки» оппозиции безразличен и соответственно характеристика одной граммемы как «маркированного» члена противопоставления, а другой — как «немаркированного» является произвольной» (7/220). Т. В. Булыгина склоняется к выбору указанной альтернативы («негативный признак следует трактовать скорее как признак, чем как отсутствие признака»), но в качестве критерия немаркированности граммемы считает ее функционирование в позиции нейтрализации: «... противопоставление «маркированность — немаркированность» заключается не в противопоставлении категории «специфической», «осложненной добавочным представлением» — «нейтральной» категории, которая включала бы в себя первую (что соответствовало бы родо-видовым отношениям, существующим в сфере лексики — ср. *растение* — *дерево* — *береза* и т. п.), а в том, что в тех случаях, когда противопоставление должно быть снято ... — в роли «обобщающего» обозначения выступает один из членов грамматической оппозиции, а именно тот, который в силу этой своей функции и признается нами немаркированным» (7/231). Таким образом, судя по последней цитате, Т. В. Булыгина выводит за пределы грамматической оппозиции явление нейтрализации, что отличает ее от А. В. Бондарко, М. Докулила и других, разделяющих концепцию импликации в позиции нейтрализации. В этом убеждает и интерпретация Т. В. Булыгиной грамматической оппозиции «в математическом смысле как разбиение некоторого множества на два непересекающихся подмножества, или, в терминах формальной логики, как деление данного «универсального класса» на два комплементарных подкласса» (7/216).

Как представляется, точка зрения Т. В. Булыгиной на грамматические оппозиции в большой мере отвечает принципам системно-структурного подхода, чем те, которые абсолютизируют бинарность грамматических отношений. И все же ее конкретные характеристики функций немаркированного члена в позиции нейтрализации производят впечатление недоговоренности и вряд ли соответствуют ее общим положениям. Т. В. Булыгина сохраняет за немаркированным членом в позиции нейтрализации статус граммемы с его содержательным признаком.

Например, говоря о нейтрализации по признаку пола, она пишет: «... сфера употребления граммемы, включающий в свой состав дифференциальный признак «мужской пол», оказывается шире, чем сфера употребления граммемы, содержащей признак «женского пола» ... ; ... когда противопоставление по признаку пола оказывается нейтрализованным, «архиграммема» всегда представлена граммемой «маскулинности»... (7/229). Думается, что точнее было бы сказать, что в позиции нейтрализации соответствующие граммемы десемантизируются и выступают только в своей грамматической форме (только в своем плане выражения).

В последнее время разработка теории нейтрализации осложнилась введением в понятийный аппарат морфологии термина «транспозиция». Наметилось два подхода в решении вопроса об отношении нейтрализации и транспозиции. Первый представлен работами Е. И. Шендельс. Она так же, как и Т. В. Булыгина, считает, что «оппозиции существуют постольку, поскольку один член отрицает признак своего противочлена через утверждение другого признака» (44/14) и что следует искать для каждого члена оппозиции смысловую маркированность, так как «само определение ее (каждой формы — М. Ш.) как сильного и слабого члена условно и односторонне. Кроме того, негативная характеристика мало информативна» (44/11). Отсюда делается правильный, на наш взгляд, вывод: «Позиции нейтрализации противопоставляется позиция различения смысловых признаков данных форм; если нет позиции различения, нет и нейтрализации» (44/15—16). Однако затем при констатации того, что при нейтрализации «нивелируются различительные признаки и сохраняются лишь общие признаки, служащие основанием их объединения» (44/16), с ссылкой на С. Карпевского, Р. Якобсона, А. В. Бондарко и др. утверждается следующее: «Нейтрализация происходит чаще всего путем транспозиции одного члена оппозиции в область употребления другого члена» (там же). Смысл концепции Е. И. Шендельс заключается в приписывании транспозиции (метафоризации) роли нейтрализующего контекста (44/29). С этим трудно согласиться даже в рамках развиваемых Е. И. Шендельс идей о грамматической транспозиции. Дело в том, что согласно Е. И. Шендельс, при транспозиции возникает коннотация «как эффект контрастности между основным и парадигматическим значением формы и ее синтагматическим значением, приобретенным в результате транспозиции» (44/37). Следовательно, транспозиция не приводит к потере парадигматической семы грамматического значения, на чем и основывается грамматическая метафоризация. Считать ли эту сему присутствующей латентно или подтекстом (см. там же), не меняет сущности контекстуальной транспозиции, которая семантически всегда двупланова.

Другой подход отделяет нейтрализацию от транспозиции, с чем, видимо, и следует согласиться. «От субституции форм, основанной на нейтрализации инвариантных значений, — пишет М. Докулил, — необходимо отличать субституцию форм, основанную на транспозиции инвариантных значений для передачи содержания, которое первично выражается формой с другим инвариантным значением. Примером может служить употребление презенса для выражения действий прошедшего (*praesens historicum*) или будущего (*praesens propheticum*)» (17/16). А. В. Бондарко справедливо подчеркивает, что «при транспозиции грамматическое значение формы не исчезает. Однако столкновение с противоречащим ему значением контекста приводит к тому, что грамматическое значение формы выступает в условиях транспозиции как значение переносное, метафорическое (т. е. общее значение выступает в переносном частном варианте)» (5/96).

V

Отмеченная в предыдущих разделах статьи логическая и системно-структурная неоправданность большинства бытующих теорий грамматических оппозиций, их априорность и связанное с ней игнорирование реального функционирования грамматических форм во многом объясняются, по нашему мнению, следующими причинами.

Прежде всего, как уже отмечалось в научной литературе (25), бинарные системы выбираются преимущественно из-за логической простоты, близости к языку электронно-вычислительных машин и разработанностью двузначной логики. Против этого едва ли можно было бы возражать, если бы система языка основывалась лишь на механизмах дедуктивного (формально-логического) мышления с его объемно-фиксированными понятиями, жестко детерминированными и однозначными предписаниями (ср. теорию алгоритмов), с его строгой упорядоченностью и статичностью форм (понятий, суждений). Но, как известно, формально-логическое мышление далеко не исчерпывает всего процесса мышления и всей психической деятельности человека, особенности которых так или иначе отражаются в системе языка и его функционировании.

В этом отношении примечателен развиваемый в последнее время взгляд на естественный язык как «полумягкую» систему, соединяющую черты «жесткости» (детерминированности, строгой упорядоченности) и «мягкости» (произвольности связи знака с означаемым, не укладывающейся в привычные логические формы и отношения). Факты функционирования языка показывают, что «нужна модель языка, отражающая как его многогранность и алогичность, так и его логическую структуру. Эти две, казалось бы, диаметрально противоположные тенден-

ции, соединяясь в каком-то мало понятном взаимодействии, собственно, и создают наш обыденный язык во всем его многообразии» (32/89). В. В. Налимов, которому принадлежат цитируемые строки и который обосновал справедливость концепции полиморфизма языка, исходит из двух фундаментальных положений: «мышление человека богаче его дедуктивной формы» (32/92) и «мышление человека и — более широко — его внутренняя жизнь, по-видимому, потенциально богаче, чем язык» (32/126), поэтому «человечество, видимо, всегда сознавало недостаточность своих средств коммуникации» (там же).

Идеи о «полумягкости» системы языка вполне согласуются с начинающимся изменением облика логики, которое происходит под влиянием задач логической формализации в гуманитарных дисциплинах. Как свидетельствуют последние работы в области методов научного исследования, в современную логику все больше и больше вторгается «человеческий фактор», особенно при ее применении к гуманитарным сферам. Так одним из примеров такой «гуманистической» логики является теория расплывчатых множеств, развиваемая с 60-х годов Л. Заде и его учениками (41/79—84). Суть этой теории заключается в признании разной степени принадлежности элемента классу, включая и «либо истинно, либо ложно», т. е. в общем виде она фактически принимает многозначную или даже континуальную логику с множеством значений истинности, в том числе и с правилами двузначной логики.

Несомненно, что и теория полиморфизма языка, и n-значные логики пытаются охватить логический механизм человеческого мышления во всей полноте его проявления и отражения в языке и речи.

Другая причина неоправданности рассмотренных теорий прагматических оппозиций заключается в признании гносеологической первичности системы по отношению к ее функционированию: бинарный характер оппозиции считается универсальным для всех уровней языка или в лучшем случае одним из мета-языков описания, равным по мощности другим системам описания (см. 25/123). При этом, единственное, кстати чисто умозрительное, обоснование бинаризма видят в особенностях человеческого психики. Р. Якобсон ссылается на усвоение детьми фолологических систем путем последовательных дихотомических делений (49). И. И. Ревзин утверждает: «Огромные успехи, достигнутые применением метода бинаризма, по-видимому, подкрепляют тот факт, что данная концептуальная схема соответствует особенностям человеческой психики. Существенно, однако, что большего сказать, по-видимому, нельзя: бинаризм можно связать лишь с определенной глубиной психологической установки воспринимающего, а не с самим объектом, как таковым» (38/334). Именно отсутствие доказательств универсальности бинарных оппозиций со стороны самих фактов языка и при-

вело к критике этой теории (см. 30/102—103; 39). Т. П. Ломтев, специально обсуждавший теоретические основы принципа бинарности в фонологии, пришел к следующим заключениям: «...вопрос о принципе бинарности дифференциальных элементов — это не вопрос об истинности или ложности принципа, а вопрос о его целесообразности; он целесообразен с точки зрения такого носителя информации, который может иметь только два состояния (таков электрический ток), он нецелесообразен с точки зрения носителя информации, который может иметь несколько состояний (таков произносительный аппарат человека)» (28/98).

Если в фонологии наблюдается стремление к большей реалистичности моделей (см. об этом 35/303), то в грамматических исследованиях оно коснулось главным образом трехчленных и вообще многочисленных грамматических категорий (см. 5/93—94; 13/32—37; 1/89—90; 17/13—14; 45/49—50 и др.). Что касается двучленных грамматических категорий, то все их многообразие функционального употребления пытаются свести к бинарной структуре. Однако «с гносеологической точки зрения не знание функции вырастает из знания структуры, а, наоборот, знание структуры возникает в результате все более полного изучения способов функционирования; «поведение», т. е. по существу движение, гносеологически первично по отношению к «субстрату»: познание субстрата не содержит ничего иного, кроме непрерывно расширяющегося изучения способов поведения объектов» (41/349—350).

Наконец, следует сказать еще об одной причине, влияющей на укрепление позиций универсального бинаризма в современных грамматических теориях. Речь идет о распространенном в последнее время определении грамматического значения как обязательного для выражения в высказываниях. «Под обязательностью выражения некоторого значения, — пишет Т. В. Булыгина, — понимают принудительное, независимое (!) от целей и потребностей сообщения появление одного из ряда однородных значений (т. е. одного из взаимоисключающих значений соответствующей грамматической категории) в любом высказывании, содержащем элемент, совместимый (по смыслу) с данным грамматическим значением» (33/206—207). Иными словами, обязательность выражения грамматического значения обязывает говорящего интерпретировать факты действительности в значениях грамматической системы данного языка даже «независимо от целей и потребностей сообщения». С этой точки зрения, разумеется, бинарное моделирование грамматических категорий более оправдано, чем моделирование, учитывающее необязательность выражения одного из противопоставленных грамматических значений. На трудности, связанные с вопросом об обязательности грамматических значений, обратил внимание А. А. Зализняк. Он заметил, что в ряде случаев, когда речь

идет о номинативных грамматических значениях, нелегко «отличить так называемый немаркированный член противопоставления от отсутствия самого противопоставления (например, единичность от отсутствия указаний о количестве предметов)» (18/25).

Действительно, факты показывают, что одним из условий нейтрализации грамматических значений является именно несущественность последних для выражаемой информации (например, несущественность форм ед. ч. и мн. ч. в случае обозначения класса предмета: *волк/волки — хищное/хищные животное/животные* и под.). Поэтому то, что говорится обычно об облигаторности грамматических значений, следует относить не к речевому их функционированию, а к принудительной регулярности грамматических форм в слове. Содержание же грамматических форм может быть богаче, чем их морфологические ряды противопоставления. В этом и заключается проявление асимметричного дуализма языкового знака и в области грамматических категорий. Кстати говоря, теория Р. Якобсона о морфологической корреляции как оппозиции выраженности/невыраженности грамматического признака явно противоречит его же поддержке идеи об облигаторности альтернативного выбора грамматического значения в статье, посвященной анализу грамматических взглядов Ф. Боаса (50/489).

*

Анализ современных теорий грамматических оппозиций показывает, что одна двузначная логика вряд ли может обеспечить в полной мере теоретико-понятийный аппарат системно-структурного и функционального описания грамматических категорий. Разработка этого аппарата должна опираться, на наш взгляд, на положения и законы диалектической логики, ибо, как писал В. И. Ленин, «в *любом* предложении можно (и должно), как в «ячейке» («клеточке»), вскрыть зачатки *всех* элементов диалектики, показав таким образом, что всему познанию человека вообще свойственна диалектика» (26/321). Однако это не означает, что мы противопоставляем диалектическую логику формальной и не видим в последней средства научного познания языка. Напротив, «диалектическая логика включает в себя в модифицированном виде принципы формальной логики..., но к ним она прибавляет такое, что составляет ее специфику» (34/269). Вся задача системно-структурного описания грамматических категорий и состоит в том, чтобы, с одной стороны, придать применяемому в грамматических исследованиях формально-логическому аппарату его подлинный характер, вытекающий из соответствия формально-логическим законам положениям диалектической логики, и, с другой стороны, прибавить к этому аппарату нечто такое, что составляет специфику

диалектической логики. Попытка наметить пути разработки понятийного аппарата системно-структурного и функционального описания грамматических категорий на основе положений диалектической логики — специальная задача другой статьи автора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахманова О. С. Фонология. Морфонология. Морфология, МГУ, 1966.
2. Бархударов Л. С. К вопросу о бинарности оппозиций и симметрии грамматических систем. — ВЯ, 1966, № 4.
3. Барентсен А. А. К описанию семантики категорий «вид» и «время». На материале современного русского литературного языка. — *Tijdschrift voor Slavische Taal-en Letterkunde*, 1973, N 2.
4. Бондарко А. В. Вид и время русского глагола. М., 1971.
5. Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971.
6. Бондарко Л. В. Некоторые замечания по поводу маркированности — немаркированности членов фонетических противопоставлений. — В кн.: Исследования по фонологии. М., 1966.
7. Булыгина Т. В. Грамматические оппозиции. — В кн.: Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.
8. Булыгина Т. В. Пражская лингвистическая школа. — В кн.: Основные направления структурализма. М., 1964.
9. Булыгина Т. В. О нейтрализации семантических оппозиций. — В кн.: Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М., 1969.
10. Бунина И. К. История глагольных времен в болгарском языке. М., 1970.
11. Виноградов В. А. Озперанд (ас'п'ирант). К проблеме гиперфонемы. В кн.: — Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971.
12. Войшвилло Е. К. Понятие. МГУ, 1967.
13. Головин Б. Н. Заметки о грамматическом значении. — ВЯ, 1962, № 2.
14. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
15. Гухман М. М. Грамматическая категория и структура парадигм. — В кн.: Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.
16. Деянова М., Минчева А., Станишева Д. О нейтрализации синтаксических оппозиций. — В кн.: Славянска филология. София, 1968, т. X.
17. Докулил М. К вопросу о морфологической категории. — ВЯ, 1967, № 6.
18. Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 1967.
19. Заредка Е. Н. Формы повелительного наклонения в русском языке. — ФН, 1976, № 3.
20. Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Морфология. Часть 2-я. Братислава, 1960.
21. Исаченко А. В. О грамматическом значении. — ВЯ, 1961, № 1.
22. Карцевский С. Об асимметричном дуализме языкового знака. — В кн.: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. М., 1962.
23. Кузнецов П. С. Проблема дифференциальных признаков в фонологии и разграничения различных типов их. — В кн.: Исследования по фонологии. М., 1966.
24. Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая. — В кн.: Очерки по лингвистике. М., 1962.
25. Лекомцева М. И. К описанию фонологической системы старославянского языка на основе тернарного принципа. — В кн.: Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1966.

26. Ленин В. И. Философские тетради. М., 1965.
27. Ломов А. М. Категория глагольного вида и ее взаимоотношения с контекстом. — ВЯ, 1975, № 6.
28. Ломтев Т. П. Принцип бинарности в фонологии. — В кн.: Т. П. Ломтев. Общее и русское языкознание. М., 1976.
29. Мартине А. Нейтрализация и синкретизм. — ВЯ, 1969, № 2.
30. Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960.
31. Мухин А. М. Понятие нейтрализации и функциональные лингвистические единицы. — ВЯ, 1962, № 5.
32. Налимов В. В. Вероятностная модель языка. М., 1974.
33. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.
34. Оруджев З. М. Диалектика как система. М., 1973.
35. Принципы описания языков мира. М., 1976.
36. Рассудова О. П. Употребление видов глагола в русском языке. М., 1968.
37. Ревзин И. И. Так называемое «немаркированное множественное число» в современном русском языке. — ВЯ, 1969, № 3.
38. Ревзин И. И. Субъективная позиция исследователя в семиотике. — «Труды по знаковым системам». Тарту, № 5, 1971.
39. Реформатский А. А. Дихотомическая классификация различительных признаков в фонематической модели языка. — В кн.: Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.
40. Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960.
41. Управление. Информация. Интеллект. М., 1976.
42. Ходова К. И. Об осуществлении нейтрализации семантических противопоставлений. — ВЯ, 1970, № 5.
43. Чешко Е. В. Падежи и предлоги в современном болгарском литературном языке. — В кн.: Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.
44. Шендельс Е. И. Многозначность и синонимия в грамматике. М., 1970.
45. Шендельс Е. И. О грамматической полисемии. — ВЯ, 1962, № 3.
46. Jakobson R. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. — В кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
47. Jakobson R. Словесное (языковое) общение. — В кн.: Общее языкознание. Хрестоматия. Составитель Б. И. Косовский. Минск, 1976.
48. Jakobson R. Zur Struktur des russischen Verbums. „Charisteria G. Mathesio... oblata“. Pragae. 1932.
49. Jakobson R. Kindersprache Aphasie und Lautgesetze. Uppsala, 1941.
50. Jakobson R. Boas' View of Grammatical Meaning. "Selected Writings", II. The Hague—Paris, 1971.

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОГРАММАТИКУ

Б. М. Гаспаров

1. Постановка проблемы

1. Вопрос о корреляции между структурой языка и характером мышления, социального поведения, вообще всего того, что можно назвать культурой, в широком смысле слова, носителей данного языка, занимает своеобразное место в истории языкознания нового времени: интерес к нему то вспыхивает с большой силой, вызывая ряд работ, в которых данная проблема ставится с предельной радикальностью и остротой, то почти совершенно исчезает, так что сама память о данной проблеме сохраняется лишь в виде скептической реакции по поводу энтузиазма предшествовавшего периода. Это волнообразное движение совершается как бы на фоне крупномасштабного поступательного движения науки в целом (в котором циклические возвращения если и имеют место, то на неизмеримо больших временных отрезках), так что каждое новое возвращение этой темы оказывается специфически окрашено в соответствии с тем состоянием научного мышления, которое оно застаёт на данном этапе. Так, постановка данной проблемы у Гумбольдта имеет ярко выраженную романтическую окраску, своеобразно воспроизводя романтический культ народного духа и *couleur locale*. Ее возвращение в рамках психологического направления, после периода с ясно выраженной универсализирующей и «органической» тенденцией — периода освоения наукой идей Дарвина и Гегеля, периода «родословных деревьев» и *Compendium'a* — окрашено психологизмом: подчеркиванием уникальности индивидуального мышления (в том числе и языкового), несводимости его к каким-либо общим системам, а также разработкой (опять-таки в психологическом плане) теории образа. Новая волна «физикализма» и универсальных схем — младограмматическая эпоха — вызывает в начале XX века сильнейшую реакцию, одним из проявлений которой можно считать очередное возвращение интересующей нас темы. Ее характерными чертами на данном этапе является, во-первых, социологическая направленность, т. е.

сопоставление выделяемых лингвистических феноменов с параметрами социальной структуры и культурного поведения — ср. неожиданное сходство с этой точки зрения таких на поверхности различных концепций, как теории Фосслера, Марра и Уорфа; во-вторых, усвоение достижений новой теории знака, складывающейся на рубеже XIX—XX вв., с ее идеей знакового реструктурирования внешнего мира (ср. в этой связи в особенности теорию Вайсгерберера).

Эта последняя по времени волна приходится на 10—30-е годы. В этот период и в общей теории языка, и в наиболее успешно развивающейся области лингвистики — фонологии — доминирует идея структурной специфичности и несводимости различных языковых систем, идея «фонологического сита» (Трубецкой), фильтрующего объективные слуховые впечатления для говорящего в соответствии с фонологическими параметрами его родного языка, — т. е. принцип структуры трактуется преимущественно в духе языкового *façon de voir*, уникального и имманентного для каждого языка. Усилия лингвистов в следующую эпоху, направленные на построение общей и целостной модели языка, привели к существенному изменению в трактовке принципа структурности, который стал теперь пониматься как основа для построения генерализованной модели языка и поиска языковых универсалий. В этом состоит, пожалуй, главный смысл перехода от классического структурализма 30—40-х годов (как европейского, так и американского) к постструктурным концепциям (глоссематике, универсальной фонологической теории Якобсона) и через посредство последних — к современным теориям языка (стратификационной теории, генеративной грамматике, модели «смысл ↔ текст»).

Господствующее в 50—70-е гг. стремление к созданию универсальной логизированной модели языка естественным образом привело к редукции в этот период проблемы «язык и культура», хотя спорадически, в виде «младшей ветви», эта тема сохраняется, выступая, например, в поздних работах Якобсона об иконичности языкового знака (9; 13; 12), в исследовании культурологических истоков фонетики (10) и в ряде других работ (напр., 4). Но все это лишь отдельные очаги, не складывающиеся ни в единую более широкую концепцию, ни в сознательный общий подход. Сам интерес к соответствующим работам предшествующего периода, довольно часто наблюдаемый в настоящее время (в особенности к теориям Сепира — Уорфа и Марра — Мещанинова), — это интерес комментаторов и критиков, а не продолжателей.

Однако в настоящее время, как кажется, складывается благоприятная ситуация для нового циклического возвращения культурологической проблематики. Дело тут, конечно, не в указаниях чисто хронологического порядка (30—40-летний интервал как постоянный период для каждого очередного цикла).

Современная лингвистика настолько далеко зашла в направлении генерализации описания, что в ближайшем будущем можно ожидать, в качестве закономерной реакции, активизации идей, представляющих альтернативную исследовательскую стратегию; — как это всегда имело место в истории языкознания в периоды, когда одно из постоянно борющихся между собой направлений становилось полностью доминирующим и достигало максимального развития.

Если исходить из предположения о возможности и уместности, в современной лингвистической ситуации, активизации подхода, при котором подчеркивается многообразие языковых структур, и в частности активизации проблемы «язык и культура», как обязательной составной части такого подхода, — возникает вопрос: в каком новом качестве, соответствующем настоящему положению науки, может и должен предстать данный «мотив» при своем очередном возвращении? какого результата можно ожидать от взаимодействия интересующей нас темы с современными общелингвистическими идеями и методами, и в чем, соответственно, выразится ее отличие на данном этапе от ее предшествующих фаз, и прежде всего от последнего цикла 10—30-х годов? Только ответ на этот вопрос может сдвинуть нас с положения посторонних наблюдателей и комментаторов концепций лингвистической относительности и др. и позволит поставить проблему «язык и культура» как современную проблему в рамках современного научного мышления.

Можно выделить два признака, наиболее важных с точки зрения поставленной проблемы.

А) Для современной лингвистики характерен не только рациональный подход к построению лингвистических моделей, но и повышенный интерес к вопросам метамоделирования — обсуждению критериев оценки и выбора модели, перечислению необходимых свойств, которыми должна обладать лингвистическая теория, и т. д. Такой подход в рамках проблемы «язык и культура» позволяет снять один вопрос, занимавший в прошлом важное место во всех соответствующих концепциях и делавший эти концепции уязвимыми для последующей критики и скепсиса. Это вопрос о том, что в данной корреляции первично — язык или культура, т. е. структура языка определяет характер мышления, социального поведения, «народного духа» и т. п. — или напротив, внешние материальные условия существования, социальный опыт, *mode of life* накладывают отпечаток на характер и структуру языка. Любое решение данной альтернативы, и любой вариант, в который облекается такое решение — психологический, социально-экономический, культурологический и т. п., — тотчас же встречает возражения оппонентов, подкрепляемые массой контрапримеров. Однако следует помнить, что как бы ни были убедительны такие возражения сами по себе, — пере-

ход к альтернативной точке зрения немедленно вызовет не менее сильные и убедительные возражения со стороны противоположной «партии».

Две противоположные лингвокультурологические концепции сосуществуют и борются, в рамках общего повышенного интереса к проблеме, в 10—30-е годы. Одна из них в наиболее радикальном поведенческом варианте представлена у Уорфа (17): структура языка понимается как сила, детерминирующая не только строй мышления, особенности культуры, но и конкретные индивидуальные и социальные действия; этот же подход, в несколько более умеренном психологическом и философски-культурологическом аспекте, представлен соответственно у Сепира (7) и Вайсгербера (16). Ее альтернатива, остающаяся, при диаметрально противоположном решении, в рамках той же проблемы и в сущности того же принципиального подхода, наиболее резко выразилась в ранних вариантах «нового учения о языке», трактовавшего типологические параметры грамматики как производное от структуры социально-экономической формации. Более умеренные варианты концепции, выводящие структуру и направление развития языка из не столь жестко регламентированного и схематизированного историко-культурного процесса, находим в теории эволюции синтаксической структуры Мещанинова (5), теории прогресса в языке Есперсена (13), в эстетической концепции Фосслера (14), в частности, в реализации последней на материале истории французского языка (15).

Стремление обязательно установить отношения односторонней зависимости между сопоставляемыми фактами языка и культуры связано со спонтанным характером возникновения теории. Каждое ее возращение в истории лингвистики выглядит не столько как результат сознательного конструирования и прогнозирования, сколько как стихийное следствие обобщения некоторых фактов, которые «почему-то» в данный период привлекли к себе всеобщее внимание, так что становилось просто непонятным, как могли эти факты игнорироваться предшествовавшим научным поколением, и показалось бы невероятным предположение о том, что и в будущем возможен возврат к состоянию, при котором эти факты вновь как бы редуцируются для научного сознания. В этом случае судьба теории, т. е. направление, которое она должна была принять в рамках очерченной выше альтернативы, в значительной степени зависела от характера опыта исследователя, определявшего, какой стороной «обернутся» к нему соответствующие факты, легшие в основу концепции. Продолжение кантианской и гумбольдтианской традиции для Вайсгербера, исследование истории английского языка (с «прогрессивным» развитием последнего к аналитизму) у Есперсена, знакомство с этнолингвистическим индийским материалом, где «странность» поведения, несходство культурного типа прежде всего бросались в глаза и требовали

объяснения, у Сепира и Уорфа — таковы предпосылки, обусловливающие в каждом случае специфический характер интерпретации фактов исследователем, а тем самым и форму его концепции. В целом можно заметить, что ученые, которые в большей степени были связаны с «внешними» аспектами лингвистики: философией языка, психологией, этнографией, — обнаруживали склонность к выведению культурных феноменов из языковых; те же, кто преимущественно имел дело с историей конкретных языков (Фосслер, Есперсен, Марр), — следовали противоположной тенденции. Это парадоксальное соотношение объясняется, быть может, тем, что более близкий материал оказывался в первую очередь для исследователя феноменом, требующим объяснения, в то время как более далекий с большей легкостью приобретает функцию инструмента интерпретации.

Современный моделирующий подход делает форму лингвистической теории не зависящей от того, какие явления из всей области фактов, которые эта теория призвана объяснить, оказались более близкими исследователю и послужили первоначальным стимулом к формированию концепции. Применительно к проблеме «язык и культура» такой подход снимает идею объяснительной примарности одного из изучаемых феноменов. В рамках такого подхода проблема может быть поставлена, как проблема **корреляции** между структурой языка и структурой культуры; проблема **взаимного наложения** данных феноменов в синхронии; наконец, проблема их **взаимодействия** и взаимной детерминации в ходе исторического развития.

В этом случае речь уже не идет о влиянии языка на культуру, либо культуры на язык. Задача ставится принципиально по-иному и состоит в определении общего **лингвокультурного типа**, признаки которого выявляются на пересечении фактов социальной структуры и ее развития, бытового поведения, искусства и особенностей естественного языка. Исследователь фиксирует структурные параллели для определенного языка (или группы языков, или языкового типа) и соответствующей культурной системы; отмечает, какие различия между характеристиками тех или иных языков коррелируют с культурными различиями; наконец, констатирует, в каких случаях происходящие в истории определенного языка изменения, — исчезновение или редукция одного ряда характеристик и накопление другого ряда признаков — обнаруживают соответствия с картиной исторического, экономического, социального развития носителей данного языка.

Б) Другая важная черта, которой можно ожидать от современной концепции, связана с тем, что в настоящее время впервые появилась возможность оперировать с разработанной **целостной моделью** языка. В течение предшествовавших полутора столетий любой подход к языку, любая теория по необходимости оказывалась фрагментарной в своей дескриптивной

реализации, ясно очерчивая отдельные участки языка и ограничиваясь отрывочными наблюдениями и декларациями в отношении других участков. Структурализм, несмотря на ярко выраженную в общей теории интегрирующую установку, в своем дескриптивном воплощении в принципе не отличался, с точки зрения данного признака, от различных теорий XIX — начала XX века, разработав стройную и целостную картину для фонологии, внося значительный, но уже не столь систематичный вклад в морфологию и морфемику, дав лишь в первом приближении теорию синтаксиса и почти не затронув проблем семантики. Лишь с середины 60-х годов наступило время для построения теорий, в которых все основные составные части языковой структуры удастся представить если и не одинаково успешно, то во всяком случае в качестве полноценных частей работающего механизма; в свою очередь и язык предстает — не только в общих теориях, но и в дескрипциях — в качестве цельного механизма, работающего в определенных циклах взаимодействия всех своих компонентов.

Фрагментарность сведений о языке и интересов лингвистики не могла не отразиться на характере постановки культурологической проблематики. Последняя всегда апеллировала лишь к отдельным изолированным сведениям и параметрам, вырванным из языка (различным в разных теориях), которым и давалась лингвокультурная интерпретация. Внутренняя форма слова (т.е. структура знакообразования) у Гумбольдта и психологистов, тип морфемной синтагматики (в терминах традиционной морфологической классификации языков) у Марра, морфологические категории у Сепира и Уорфа, структура предложения и оформление его членов у Мещанинова, наконец, просто отдельные фрагментарные факты из разных областей, от фонетики до синтаксиса (Фосслер и Есперсен) — таковы границы, в которых замыкается каждая теория, не будучи в состоянии использовать факты языка систематически.

Современная теория может и должна рассматривать язык как единое целое, в совокупности и взаимодействии всех составляющих его компонентов. Предметом культурологической интерпретации становятся все стороны языка, рассмотренные систематическим образом: фонологическая структура, особенности интонации и мелодики речи в данном языке, его морфологические категории и синтаксические структуры, особенности семантического (знакового) членения мира и дериваций знаков. При этом все данные подсистемы в свою очередь должны быть представлены в совокупности как единое целое, т.е. самые различные и на первый взгляд автономные параметры должны дать единую лингвокультурную картину, в которой каждый из параметров предстает как вариация единой доминантной «темы» в устанавливаемой корреляции языка и культуры.

Результаты такого подхода могут оказаться важными,

между прочим, и в чисто дескриптивном плане, поскольку с их помощью может быть обнаружено взаимодействие таких компонентов языка, которые в рамках чисто лингвистической модели не соотносятся между собой и трактуются как структурно независимые циклы языкового механизма. Например, если оказывается, что и состав и правила сцепления фонем, и характер интонации, и структура частей речи и их категорий, и особенности синтаксического строения обнаруживают глубинное сходство, коррелирующее с культурологическими ценностями, то такой результат способен привести к определенным изменениям в наших взглядах на способы организации языковой структуры и возможные пути ее описания. С этой точки зрения лингвокультурная корреляция может стать такой исследовательской точкой отсчета, которая способна представить объект в неожиданном ракурсе и тем самым стимулировать прогресс в описании его внутреннего устройства. К описанию механизма культуры это, по-видимому, относится в той же мере, как и к описанию структуры языка.

Предмет исследования, разработка которого опирается на описанный здесь подход, можно назвать **социограмматикой**. Данное название призвано прежде всего подчеркнуть установку на системность, учет коренных факторов языковой структуры в их единстве и взаимодействии, — понимая в этом случае «грамматику» в широком смысле, как структурную основу, проявляющуюся в строении языкового целого и всех его компонентов.

Реализация поставленной исследовательской задачи в последующих разделах работы первоначально предполагает, разумеется, раздельное рассмотрение различных сторон языка; в частности, предполагается последовательно проанализировать с этой точки зрения структуру грамматики в узком смысле (морфологии и синтаксиса), словообразования и фонетики (как сегментной, так и супraseгментной) русского языка. Однако такое разделение, необходимое во всяком описании, не снимает задачи фиксирования **конструктивного тождества**, которое позволило бы в итоге синтезировать данные части в единой языковой картине, сопоставляемой с определенной культурной картиной. Возможность решения такой задачи должна показать степень обоснованности сформулированных выше исследовательских ожиданий.

2. При всех этнических, исторических, культурных различиях между народами, населяющими Европу, имеется возможность говорить о европейском культурном конгломерате, как едином целостном образовании. Его единство определяется рядом важнейших конститутивных признаков, общих для всех областей внутри данного конгломерата и в то же время противопоставляющих последний другим культурным ареалам. Аналогичным образом возможно говорить и о едином **европейском языковом типе**. Его границы, правда, выходят за пределы Ев-

ропы, но во всяком случае в рамках европейского ареала все языки, независимо от степени их родства (как индоевропейские, так и финно-угорские), принадлежат к этому типу и имеют ряд важнейших общих черт. Такими конститутивными для европейского языкового единства общими чертами можно, в частности, считать: а) в области синтаксиса — господство номинативного строя предложения; корреляция активной — пассивной конструкции; б) в области морфологии — противопоставление имени и глагола как частей речи, имеющих разный набор форм; противопоставление актуального — неактуального коррелятов в глагольной парадигме (настоящего — прошедшего времени, реальной — ирреальной модальности), как центральный фактор грамматического оформления высказывания; значительное развитие аналитических форм, главным образом у глагола; наличие отглагольных именных форм — инфинитивов, причастий, деепричастия, супина; использование предлогов и послелогов как специализированных служебных слов, обособившихся от наречий; выделение числительных в специализированный грамматический класс с особыми морфологическими и синтаксическими свойствами; в) в области морфемики — грамматическое оформление слова при помощи постфиксов (в подавляющем большинстве случаев); значительное развитие фузии (в том числе и у финно-угорских языков европейского ареала); относительно четкое членение речи на слова: тенденция к цельно-оформленности в пределах одного слова и к раздельной оформленности словосочетаний; г) в области фонетики — очень значительное количественное преобладание диффузных согласных фонем (лабиальных и дентальных) над компактными (велярными и фарингальными); отсутствие ограничений на число фонем и/или слогов в пределах одного слова (возможность многих сложных слов); возможность как открытых, так и закрытых слогов; почти полное отсутствие ограничений встречаемости фонем в инициальной и финальной позиции в слове; д) в области графики — наличие длительной (как минимум 2—3 столетия, обычно же свыше 1000 лет) традиции буквенного письма¹.

Итак, единство европейского языкового типа подтверждается значительным числом признаков; хотя те или иные из этих признаков в различных сочетаниях встречаются в самых разных языках, полный их набор позволяет с достаточной четкостью выделить языковой ареал, в основном совпадающий с грани-

¹ Имеется в виду буквенное письмо в узком смысле, т. е. такое, при котором отдельными знаками обозначаются не только согласные, но и гласные. Хотя структура письма сама по себе не составляет части языкового устройства, однако длительная письменная традиция определенного типа способна оказать значительное влияние на характер употребления языка, соотношение в нем различных подязыков и т. д., и может поэтому служить типологическим параметром. Воздействие письменной традиции на характер языкового кода рассматривается нами в работе «Устная речь, как семиотический объект» (в печати).

цами Европы. Однако при рассмотрении внутренней структуры этого языкового ареала обнаруживается, что он не составляет полного единства: наряду с выделенными конститутивными общими чертами существует ряд дальнейших признаков, на основании которых данный ареал может быть расчленен на ряд противопоставленных между собой областей. При этом как европейский языковой ареал в целом совмещается с европейским культурным конгломератом, так и его внутреннее членение может быть приведено в соответствие с культурологическими противопоставлениями внутри европейского культурного единства. В связи с этим возникает задача типологического описания внутренней структуры европейского языкового и культурного типа, выделения важнейших подразделений внутри этого типа и взаимного соотнесения культурологической и лингвистической картины.

Полное описание возникающих расчленений, границ между основными зонами и соотношений в промежуточных областях, разумеется, может быть дано лишь на базе подробного описания дифференциальных типологических признаков и их территориального распределения. Сейчас же следует предварительно наметить основные области, являющиеся предметом дальнейшего анализа.

Одна такая область формируется в западной части европейского ареала и представлена прежде всего германскими и романскими языками. Другая область занимает восточную часть европейского ареала и с наибольшей полнотой представлена восточнославянскими языками. Характерные черты языкового типа, специфичного для каждой из этих областей, образуют соответственно западноевропейский языковой стандарт (ЗЕС) и восточноевропейский языковой стандарт (ВЕС). Между двумя этими областями лежит переходная зона, представленная языками Прибалтики, Центральной Европы и Балканского полуострова². При этом если прибалто-финские и балканские (т. е. южнославянские, румынский, новогреческий) языки, при наличии ряда переходных черт, в целом более соотнесены с западным типом, то балтийские и западнославянские языки в целом более тяготеют к восточному типу. В принципе можно сказать, что черты каждого из двух выделенных типов в максимальной степени концентрируются в крайней западной и крайней восточной зоне Европейской языковой области и постепенно затухают по мере движения к противоположной зоне. Поэтому признаки ЗЕС с наибольшей полнотой выражены в английском и французском языках, признаки ВЕС — в русском языке. Можно также

² Ср. противопоставление западноевропейского и евразийского языкового союза, с выделением, в весьма сходных географических пределах, переходных зон, хотя и на основании других лингвистических параметров, и без культурологической ориентации, в 30-е годы у Якобсона (8).

отметить, что волна распространения ЗЕС выглядит более мощной, и соответственно ее влияние заходит дальше на восток на северной и южной оконечности европейского ареала (в Скандинавии и на Балканах), в то время как распространение признаков ВЕС на запад с большей интенсивностью отмечается в Центральной Европе.

Как будет показано в дальнейшем описании, противопоставление между выделенными языковыми типами охватывает все стороны языка и опирается на большое число, на первый взгляд, весьма разнотипных признаков, которые, однако, при рассмотрении их в социограмматическом аспекте оказываются тесно взаимосвязаны. Последовательное описание этих признаков, обнаружение взаимосвязи между ними и формулирование вырисовывающихся благодаря этой взаимосвязи устойчивых инвариантных черт каждого лингвокультурного типа составит содержание дальнейшего исследования.

II. Морфологическая структура русского языка как предмет социограмматики

§ 1. Морфология глагола

Специфика русского (и шире — восточнославянского) глагола состоит прежде всего в резко выраженной редукции основных категорий, которые в языках ЗЕС конституируют глагол-предикат (*verbum finitum*): категорий времени, наклонения, лица и залога.

1. В структуре категории времени прежде всего бросается в глаза редукция системы прошедших времен. Современный русский язык имеет только одну стандартную форму прошедшего времени — простую форму на -л. Правда, случаи типа Он упал, Он бежать, Он прыг тоже иногда интерпретируются в качестве форм прошедшего времени (2). Однако, во-первых, такая интерпретация может быть оспорена (3); во-вторых, в любом случае мы имеем здесь дело с периферийным, стилистически отмеченным явлением; и наконец — все это опять-таки **простые** формы.

Такое состояние является исключительным с точки зрения ЗЕС. Среди языков ЗЕС нет ни одного, который не имел бы минимум двух прошедших времен, в том числе одного сложного, — т. е. который не содержал бы минимального противопоставления типа «перфект/имперфект»; у большинства же языков число прошедших времен достигает 3—4, и у многих — превышает эту цифру.

Тут необходимо сделать две оговорки. Первая: когда мы здесь и в дальнейшем будем говорить о наличии vs. отсутствии какого-либо явления в каком-либо языке, или о богатстве vs.

бедности, развитии vs. редукции этого явления, все определения такого рода не имеют оценочного характера и не преследуют цель показать превосходство в целом, или даже в данной определенной области, одного языка над другим. Суммарная область смыслов, выражаемых или потенциально могущих быть выраженными в языке, по-видимому, примерно совпадает для всех языков, по крайней мере находящихся в рамках одного фазиса культурного развития. Различия состоят лишь в способах внутреннего членения данной области, представляя особенности, но отнюдь не разные качества, т. е. имеют культурологическое, но не оценочное значение.

Другое замечание относится к распространенному убеждению, что бедность временной системы в русском языке объясняется и компенсируется развитием категории вида. Данное мнение было сформулировано в славянофильских концепциях середины прошлого века — у К. С. Аксакова (1) и Н. П. Некрасова (6), — в которых указанная особенность русского глагола не только отмечалась, но всячески подчеркивалась и даже преувеличивалась, как отражение особенности русского языкового «пути»; но одновременно подчеркивалось и исключительное значение вида, как чисто «русского» эквивалента «западных» глагольных категорий. Влияние этого убеждения, хотя и в смягченном виде, можно проследить вплоть до настоящего времени. Между тем вид нельзя рассматривать как компенсацию уже хотя бы потому, что существуют языки, в которых наличие развитой категории вида ничуть не препятствует существованию также развитой системы времен. Таковы некоторые западнославянские языки (верхне-лужицкий), и в особенности южнославянские, в первую очередь болгарский, содержащий уникально сложную модально-временную систему наряду с полноценной видовой корреляцией; да и за пределами славянской группы, финский язык, наряду с системой трех прошедших времен, имеет довольно ясно выраженную аспектуальную корреляцию, хотя и не столь развившуюся, как в славянских языках.

Наличие категории вида никоим образом не делает незаметной редукцию временной системы, либо излишней такую систему. Вид не заменяет и не отменяет времени, хотя может образовывать частичные смысловые пересечения и взаимодействия со временем, подобно тому как это можно наблюдать и между другими категориями. Поэтому свертывание категории времени в русском языке следует квалифицировать именно как позитивный факт редукции, а не как вторичное следствие развития глагольного вида. Функция категории вида принципиально лежит в другой плоскости и будет рассмотрена в дальнейшем.

При наличии в языке только одной формы прошедшего времени теряется та **стратификация сферы прошедшего**, которая имеет место в языках ЗЕС: во-первых, расслоение прошлого на ряд областей, имеющих различную отдаленность (абсолютную

либо относительную) от настоящего — различение близкого и отдаленного прошедшего (*passato prossimo* и *passato remoto* в итал.), прошедшего и предпрошедшего (противопоставление перфекта — плюсквамперфекта, в том или ином виде представленное во всех языках ЗЕС), наконец, расчленение сферы предпрошедшего на непосредственное и не-непосредственное (плюсквамперфект — *passé antérieur* во франц. и исп.), близкое и отдаленное предпрошедшее (*trapassato prossimo* — *trapassato remoto* в итал.); во-вторых, расслоение прошлого на стратумы, различающиеся характером связи с настоящим; в этом плане во всех языках ЗЕС имеется как минимум бинарное противопоставление перфекта — имперфекта, а в ряде языков (англ., франц., исп.) представлена и более сложная троичная система (ср. *Indefinite* — *Continious* — *Perfect Tenses* в англ., *passé simple* — *passé composé* — *imparfait* во франц.). В категориях же языков ВЕС сфера прошедшего представлена как нерасчлененная, без деления зон «близкого» и «далекого», «контактного» и «дистактного», «дискретного» и «недискретного» по отношению к настоящему. Тем самым зона прошедшего как бы **суживается**: устраняются самые отдаленные, маргинальные ее слои (типа плюсквамперфекта или *Passato remoto*) как отдельные, имеющие самостоятельное выражение феномены; сфера прошедшего теряет расслоение в глубину и тем самым как бы «уплотняется» по отношению к настоящему.

Такая картина является не просто фактом современного русского языка: она планомерно складывалась в целой цепи исторических процессов на протяжении длительного времени. Древнерусский язык унаследовал от общеславянского четыре формы прошедшего времени: аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект (не считая структурных разновидностей данных основных типов), в которых полноценно выражалась стратификация зоны прошедшего, характерная для ЗЕС. Однако имперфект уже находился в стадии распада. Вслед за имперфектом, примерно к XVI—XVII вв. совершается распад плюсквамперфекта и аориста; перфект теряет употребление связки и пересмысливается как форма простого прошедшего времени (единственная).

К этой линии развития можно также добавить фактически полное исчезновение в XX веке форм «давнопрошедшего» времени (типа *читывал*), широко употреблявшихся еще в прошлом столетии. Конечно, их едва ли можно было считать **особой формой времени** в строгом смысле слова, скорее это определенный разряд имперфективных глаголов. Но все же наличие данного разряда ощутимо поддерживало в языке, хотя и не в виде оформленной категории, идею отдаленного прошедшего — ныне это явление практически устранено из языка. Аналогичным образом заметно сократились в современном употреблении, по сравнению с прошлым веком, обороты со словом

бывало (Он бывало приходил сюда), также способствовавшие некоторой стратификации зоны прошедшего. Перед нами, таким образом, длительная тенденция развития, первые признаки которой обнаруживаются в ранних древнерусских памятниках (распад имперфекта, первые примеры опущения связки в перфекте) и которая сохраняется до настоящего времени; при этом можно заметить две особенно сильные волны редукции прошедшего: XVI—XVII вв. и XX в.

Описанная редукция прошедших времен усугубляется также тем фактом, что единственная оставшаяся в языке форма простого прошедшего (на -л) по своему происхождению не является собственно глагольной формой (*verbum finitum*): это причастие, образовывавшее в сочетании со спрягаемой формой связки перфект и плюсквамперфект и переосмысленное в качестве глагола после падения связки. То есть, с учетом данного обстоятельства, в языке нет **ни одной** финитной формы прошедшего времени.

На первый взгляд, неглагольное происхождение формы не препятствует ее современному функционированию в качестве глагола. Это, однако, не совсем так, поскольку «память» о нефинитном происхождении формы сохранилась в некоторых ее особенностях, существенных для современного употребления, а значит, и для современного языкового сознания. Мы имеем в виду **отсутствие спряжения**, т. е. форм лица — этого важного показателя *verbum finitum* в языках ЗЕС, и в то же время **наличие форм рода**, имеющих явное отношение к сфере имени.³ Конструкция Я писал не может идентифицироваться как точная проекция в прошедшее конструкции Я пишу, потому что последняя способна в принципе функционировать без формы имени (Пишу), благодаря указанию на лицо у глагола, а первая — не может; в то же время выражение Я писал идентифицируется с Я весел по способу оформления своих составляющих и распределения между ними грамматической информации. Это делает единственную форму прошедшего времени в русском языке — формой с дефектной глагольностью, несимметричной по отношению к настоящему времени.

Таким образом, помимо редукции прошедшего времени как такового, здесь впервые обращает на себя внимание одна более общая черта, реализация которой будет неоднократно отмечаться впоследствии — редукция самого принципа *verbum finitum*, как центра предикативной структуры.

Демаргинализация сферы прошедшего составляет наиболее резко обозначившийся процесс для категории времени в ВЕС. Однако и относительно будущего времени может быть замечена

³ Ср., например, в польском языке, при аналогичном развитии прошедшего времени из старого перфекта, появление, однако, вторичных личных окончаний у формы на -ł (из бывших форм связки, превратившихся в аффиксы).

аналогичная тенденция. Она проявляется, во-первых, в отсутствии стратификации зон будущего, т. е. выделения контактных — дистактных, близких — далеких зон по отношению к настоящему. Конечно, этот процесс не так заметен, потому что и языки ЗЕС стратифицируют будущее не с такой степенью детализации, как зону прошедшего. Все же минимальное расчленение типа *Futurum I* — *Futurum II* присутствует в большинстве языков ЗЕС, а в некоторых языках (англ., франц.) имеется и более сложная система, хотя наряду с этим должны быть отмечены языки переходного типа, стоящие ближе по своей организации настоящего — будущего к русскому языку, напр. прибалто-финские. Эффект срастания сферы будущего с настоящим в русском языке более ярко проявляется в факте наличия одной формы настоящего/будущего для глаголов совершенного вида.

Итак, структура категории времени в русском языке в целом обнаруживает значительную редукцию, проходящую при этом под знаком сильной **центростремительной тенденции**, направленной к настоящему времени. Зоны прошедшего и будущего свертываются, внутри каждой зоны избегаются либо прямо устраняются в истории языка маргинальные слои, все то, что создает глубину каждой зоны и диапазон временного размаха для всей категории в целом. Язык как бы стремится утвердиться на почве презенса, стягивая временные планы к этой центральной зоне.

2. Аналогичный процесс можно заметить и в отношении категории наклонения. Здесь центральная зона — индикатив — утверждает себя на фоне подавления других модальных зон, приводящего к подрыву функций последних в качестве полноценных коррелятов индикатива.

Сфера условной модальности представлена в русском языке аналитической формой: сочетанием частицы *бы* и все той же формы на *-л*. Бросается в глаза формальная дефектность данного образования, как члена парадигмы *verbum finitum*, еще большая, чем та, которая наблюдалась у формы прошедшего времени: отсутствует не только лицо, при сохранении рода (по той же причине, что и у прошедшего времени), но отсутствует также возможность изменения времени, и эта единственная форма может относиться к любому временному плану — случай настолько же исключительный с точки зрения ЗЕС, как и монолитное нестратифицированное прошедшее время. Этот формальный дефект имеет важные следствия: поскольку степень реальности при условной модальности часто зависит от временной характеристики, то неразличение последней еще более усиливает в русском языке редукцию условной и ирреальной модальности. Вся система конъюнктива/кондиционала, представленная в различных вариантах в ЗЕС, свернута и дестратифицирована здесь в эту единственную форму сослагательного наклонения, без выделения различных степеней ирреальности,

без различия условности, ирреальности и желательности и т. п.

Неудивительно также, что при такой обширности зоны, покрываемой единственной формой, значение этой формы оказывается весьма неустойчивым и распыленным: в различных случаях она показывает то собственно условие, то желательность, то ирреальное условие и т. п. Но эти разные случаи не являются стационарными грамматическими альтернативами, поскольку различия между ними не закреплены с достаточной четкостью формально и зависят от множества привходящих причин — от интонации до синтаксической позиции и контекста, так что часто различные возможные осмысления формы выступают в смешанном, диффузном виде. Все это только еще больше подчеркивает нерасчлененность и диффузность данной модальной зоны в русском языке.

Ослабление функции императива проявляется, во-первых, в сокращении парадигмы по лицу у данной формы: отсутствует третье лицо. Впрочем, и в рамках ЗЕС третье лицо у императива — это феномен, овойственный лишь некоторым языкам. Гораздо существеннее то, что форма императива имеет в русском языке чрезвычайно широкий круг значений и оказывается употребляемой в самых различных ситуациях. Ср. выражения типа Он и побег — с омонимом императива, полностью утратившим связь с императивной модальностью, или примеры вроде А я тут сиди с ним, где сохраняется лишь частичный намек на императивную модальную сферу (значение долженствования); Узнай я во-время, ничего бы не случилось — со значением ирреального условия, хотя и с оттенком долженствования ('мне надо было узнать'). Это распыление в употреблении императива, конечно, делает его более слабым представителем определенной модальной зоны, чем в языках ЗЕС.

Аналогичным образом инфинитив, в рамках ЗЕС, при независимом употреблении имеет, как правило, императивное значение, т. е. тоже выступает как полноценный выразитель данного модуса. Ср. однако в русском языке распыление семантики независимого инфинитива, отражающееся в конструкциях типа Он ну кричать, Я спать, Нам никак не встретиться, Нам больше не встречаться и т. д. Наконец, утрата сулина также может быть упомянута в связи с общей тенденцией в сфере модальности.

Итак, для категории модальности наблюдается та же тенденция, что и для категории времени: центростремительное развитие, устранение или редукция маргинальных зон, всех альтернатив центра категории — индикатива. Эти параллельные процессы частично связаны между собой; в сущности, можно говорить о едином процессе сжимания модально-временного

пространства в результате тенденции к утверждению безальтернативного ядра — презенса индикатива.

3. Аналогичные черты недоразвития или исторически прогрессирующей редукции можно легко подметить для категорий лица и залога. О категории лица мы, собственно, уже говорили при рассмотрении временных и модальных феноменов. Ее редукция технически была оформлена в виде отпадения связки и переосмысления причастной формы в качестве глагола; в результате большие участки глагольной парадигмы (прошедшее время и сослагательное наклонение) не различают лица, при различении рода.

В истории отдельных языков ЗЕС также можно наблюдать утрату форм лица — частичную (английский) либо даже полную (шведский). В этих случаях данный процесс равномерно распространяется по всем модально-временным формам (т. е. не служит средством «дискриминации» некоторых из них), и кроме того, не сопровождается одновременным заместительным появлением именных категорий — т. е. является неотмеченным фактом упрощения парадигмы, но не ее деформации, которая имела бы определенную тенденцию с точки зрения изменения соотношения категорий в языке.

Редукция категории лица, помимо уже указанных фактов, проявляется также в широком развитии **безличных глаголов**, т. е. глаголов, не имеющих спряжения и употребляемых только в составе безличного предложения. Такие глаголы есть и в языках ЗЕС, однако там их количество крайне незначительно — обычно это несколько слов, связанных с обозначением стихийных природных явлений. В остальных же случаях безличное употребление имеют неспециализированные глаголы, т. е. такие, которые употребляются и в личной конструкции, и в составе последней имеют нормальную парадигму по лицу (ср. нем. конструкцию с *тап*, франц. — с *оп*, итал. безличные обороты с возвратной формой и т. д.). В русском языке число безличных глаголов очень велико. Более того, безличные глаголы образуют **продуктивный** (открытый) класс — ср. образования типа не спится, не читается, не поется и т. д., с возможностью нестандартных (оказиональных) образований; наряду с собственно безличными глаголами (с застывшей формой 3 л. ед.), имеются единичные неопределенно-личные глаголы (с застывшей формой 3 л. мн.): *зовут* (в знач. 'имеется имя'), совр. просторечн. *дают* ('продают в магазине'); обобщенно-личные глаголы (с застывшей формой 2 л. ед.): совр. разгов. *даешь* (+ Вин.). Обращает на себя внимание активизация данных явлений в современном употреблении: широкое распространение безличных форм на -ся, появление новообразованных неопределенно-личных и обобщенно-личных слов.

Далее, употребление в русском языке таких конструкций, как *Он и крикни*, *Он бежать*, *Он хлоп*, где пред-

кат не имеет формы лица, также имеет отношение к описываемому процессу.

Наконец, важным проявлением редукции лица является утрата спряжения связкой, а затем и почти полное исчезновение связки в настоящем времени. Таким образом, связка не только в прошедшем времени (как все глаголы), но и в настоящем времени не дает квалификации по лицу.

При этом, однако, нулевая связка нисколько не подрывает статус выражаемого с ее помощью презенса индикатива: фразы типа *Зима, Он студент, Он весел, Ему трудно* и т. п. отчетливо идентифицируются с данными модально-временным планом. Более того, само возникновение нулевой связки косвенно подтверждает предшествующие рассуждения относительно модально-временной структуры в русском языке: именно утверждение презенса индикатива как безальтернативного, абсолютного состояния хорошо согласуется с техникой его выражения нулевой формой (ср. аналогичное положение при оформлении именительного падежа в сфере имен не только в русском, но и во многих других языках).

4. При всех различиях в значении и способах оформления рассмотренных выше категорий у них есть одна общая черта: это категории, характеризующие не содержание сообщаемого факта, а точку зрения на данный факт; они не затрагивают характер внутренних соотношений между компонентами сообщаемого события и характер каждого из компонентов, а рассматривают сообщение в целом как бы извне, проецируя его на некоторую систему оценок и формируя определенный аспект его рассмотрения. Так, высказывания *Я пишу* и *Я писал* репрезентируют один и тот же факт, но перенесенный в различные временные зоны по отношению к говорящему и к моменту речи. Аналогично, смена модальности переносит одно и то же сообщение, не меняя его внутренней смысловой структуры, в различные планы по отношению к реальности. Корреляция актива — пассива по-разному акцентирует роль участников действия: в положении эмфазы, представленном формой номинатива, оказывается то субъект, то объект — но не меняется в принципе ни само действие, ни состав, характеристика и роль его участников. Наконец, смена лица меняет пространственную топографию факта относительно говорящего так же, как смена времени регулировала «временную топографию» относительно момента речи: *Я пишу, Ты пишешь, Он пишет* — во всех этих примерах имеется один факт 'субъект совершает данное действие', но по-разному ориентированный в заданных языком пространственных координатах.

Категории данного типа можно поэтому назвать **реляционными категориями**, или **реляторами**, поскольку они осуществляют соотнесение события с тем или иным углом зрения.

В отличие от этого, категории, участвующие в формировании внутренней смысловой структуры сообщения, описывающие собственно сообщаемый факт, можно назвать **дескриптивными категориями**, или **дескрипторами**. Изменение такой категории имеет следствием изменение фактического содержания события, а не его истолкования. Так, в сообщениях Он пишет, Она пишет, Они пишут вводятся разные факты, и это различие фактического состава сообщения опирается на показания дескриптивных категорий рода и числа. Сообщения Я пишу книгу и Я пишу о книге также имеют разное фактическое содержание, благодаря изменению соотношений между составными компонентами сообщения, т. е. изменению его внутренней смысловой структуры, которое осуществляется при помощи дескриптивной категории падежа.

Конечно, между значениями отдельных категорий нередко существуют связи и пересечения; соответственно, и границы между описанными двумя общими классами категорий не могут быть очерчены с полной определенностью только на основании анализа смысла этих категорий: возможны колебания в истолковании значения той или иной категории и тем самым в отнесении ее к дескриптивному либо реляционному классу. Поэтому решающим фактором такого разграничения являются показания языковой формы; различие между двумя типами категорий проявляется в их формальных свойствах. А именно, дескриптивные категории **тесно связаны со словообразованием**: отдельные формы дескриптивной категории легко обособляются в качестве самостоятельных слов, так что парадигма дескриптивной категории служит как бы потенциальным словообразовательным гнездом. Ср. родовые корреляции у существительных, различные деривационные сдвиги у числовых коррелятов (главным образом связанные с различными вариантами идеи собираемости), адвербиализацию падежных форм, словообразование на базе глагольного вида.

В то же время реляционные категории практически не знают данного процесса (за исключением единичных идиоматизированных случаев): именно таково свойство парадигм времени, наклонения, лица, корреляции актива — пассива, а у имен — форм детерминативности.

Данное различие очевидным образом связано с той спецификой семантики у двух типов категорий, которая была указана выше: дескриптивные категории, описывая фактическую сторону сообщения, оказываются родственны деривационным ходам языка и поэтому активно взаимодействуют с последними.

Система *verbum finitum* у языков ЗЕС почти целиком (за исключением форм числа) построена на реляционных категориях; дескриптивная сфера выражена сильнее у имен. В русском языке реляционная структура у глагола оказывается резко

ослабленной по сравнению с ЗЕС. На этом фоне особенно значительным выглядит факт развития вида и способов действия, которым, как известно, соответствуют лишь спорадические явления в языках ЗЕС.

В системе глагольных форм категория вида представляет дескриптивную сферу. Правда, видовые значения тесно переплетаются с временными: эффект перфективации/имперфективации, как известно, тоже связан с изменением точки зрения на процесс. И все же в семантике вида в весьма существенной степени присутствует различная физическая характеристика процессов, т. е. различное их фактическое описание. Связь смены вида со словообразованием и сдвигом значения у глагола ясно указывает на эту специфику.

Соотношение дескриптивных и реляционных категорий в рамках ВЕС и ЗЕС наглядно проявляется также в судьбе категории залога на почве каждого из этих языковых типов. Противопоставление актива — пассива, имеющее чисто реляционное значение, проявляется с максимальной регулярностью в языках ЗЕС, охватывая все без исключения транзитивные глаголы. В ВЕС это противопоставление сильно редуцировано, и пассивная трансформация далеко не достигает той степени регулярности, которая ей свойственна во всех языках Западной Европы. Так, в русском языке пассивная форма может быть образована при помощи причастий только от глаголов совершенного вида; но и здесь имеется множество отклонений, делающих использование пассива даже в этой ограниченной сфере далеко не универсальным. Что же касается пассивных форм на -ся от глаголов несовершенного вида (типа строится, читается), то эти формы отличаются еще большей нерегулярностью и вообще не могут считаться полноценным грамматическим способом.

С другой стороны, в русском языке широко представлены глаголы, имеющие возвратное, взаимное, медиальное значение. Данный круг значений относится к дескриптивному типу: с их помощью описываются различные действия, а не точка зрения на одно и то же действие, как это имело место в противопоставлении актива — пассива. Дескриптивный статус возвратного, взаимного, среднего залога подтверждается лексико-грамматическим характером данных форм: каждой из них соответствует отдельная глагольная лексема, в отличие от форм актива — пассива, являющихся членами одной глагольной парадигмы. Характерно, что в языках ЗЕС, в отличие от русского, дескриптивные залоговые значения не имеют для своего выражения специальных лексико-грамматических глагольных форм; соответствующие значения выражаются либо при помощи описательной конструкции (с возвратным местоимением), либо вообще формально не различаются, а сосуществуют в качестве альтернативных значений многозначной глагольной лексемы, выбор из

которых подсказывается контекстом. Ср. нем. verderben 'испортить' и 'портиться', fehlen 'отсутствовать' и 'недоставать', англ. to bite 'кусать' и 'кусаться' и т. д. В этом случае в языках ЗЕС в сфере дескрипторов имеют место процессы, аналогичные тем, которые в русском языке отмечались для сферы реляторов, например, при выражении ирреальной модальности или различных вариантов прошедшего: синкретизация разных значений в одной форме, использование различных описательных выражений, обращение к поддержке контекста.

Отметим еще ряд явлений в русском языке, в которых проявляется тенденция к дескриптивному использованию глагольных форм: наличие конструкций типа Он бежать. Он побег и, наличие глагольной междометной формы Он прыг. Все эти выражения также вводят некоторые специализированные оттенки процессов. Языку как бы недостаточно иметь только видовую пару прыгал — прыгнул, выражающую длящийся и/или многократный vs. краткий, законченный и однократный процесс. Добавляются еще выражения Он (и) прыгни — краткий и при этом неожиданный процесс; Он прыгать — неожиданный, интенсивный и многократный процесс; Он прыг — высшая степень краткости, интенсивности и/или неожиданности.

Ср. также развитие специфически русских глагольных сращений типа пойду посмотрю, сяду напишу, где два глагола соединяются не по принципу сочинения, а в виде глагольной аппозиции⁴, образуя смысловой симбиоз — своеобразное сращение двух действий в один специфицированный процессуальный комплекс. Следует отметить интенсивное развитие данного типа в современной речи.

Таким образом, в рамках ВЕС наблюдается, с одной стороны, редукция релятивной сферы, которая постоянно направлена к тому, чтобы устранить маргинальные, периферийные, центробежно устремленные по отношению к позитивно данной реальности смысловые зоны и тем самым утвердить сферу «действительности», сферу презенса индикатива, в качестве единственного и безальтернативного феномена. С другой стороны, сосредоточение на позитивной данности находит не только отрицательное выражение, в виде устранения возможностей плюралистической трактовки объекта, но и положительное, в виде разработки на почве грамматических категорий глагола дескриптивных оттенков сообщаемого смысла. В результате глагольная парадигма ВЕС оказывается ориентирована на описание и классификацию наблюдаемых феноменов, в то время как глагольная парадигма ЗЕС в первую очередь вводит различные точки отсчета по отношению к этим феноменам.

⁴ См. подробную характеристику данных выражений в качестве глагольной аппозиции в (3).

Такая интерпретация позволяет найти дополнительное объяснение тому факту, что окончательное оформление категории вида (XVI век) совпадает по времени с сильной волной редукции модально-временной сферы в истории русского языка. Смысл этих двух параллельных процессов не только во взаимной компенсации и устранении дублирования, но также и в том, что они представляют две стороны развертывания и становления определенного языкового типа, находившегося, как будет показано в дальнейшем, в корреляции со становлением, в этот же период, соответствующего культурного типа.

В заключение данного раздела заметим, что, конечно, любые реляционные варианты могут быть в принципе выражены в русском языке при помощи вспомогательных средств: подбора лексик, интонации, использования контекста и т. д.; аналогично, самые различные оттенки описания процессов могут быть так или иначе выражены в языке ЗЕС. Проведенный анализ ни в коей мере не должен вести к заключению о фатальном отсутствии возможностей реляционного мышления в одном случае и дескриптивного — в другом. Однако характер грамматического оформления показывает, какие ценности культивируются в том или ином языке в качестве привычно-обязательных в употреблении и хорошо разработанных технически в языковых формах, а какие — зависят от личной инициативы говорящего и его находчивости в использовании языкового материала. Это смещение акцентов и составляет различие культурной ориентации, обзор которого будет продолжен в следующей статье.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксаков К. С. Опыт русской грамматики. — В кн.: К. С. Аксаков. Собрание сочинений. Т. III, ч. 2. М., 1880.
2. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947.
3. Гаспаров Б. М. Построение модели формальных классов слов современного русского языка. — «Уч. зап. ТГУ», вып. 266. Труды по русской и славянской филологии, XVII. Тарту, 1971.
4. Зализняк А. А., Падучева Е. В. О связи языка лингвистических описаний с родным языком лингвиста. — «I летняя школа по вторичным моделирующим системам». Тарту, 1964.
5. Мещанинов И. И. Новое учение о языке. Стадиальная типология. Л., 1936.
6. Некрасов Н. П. О значении форм русского глагола. СПб., 1865.
7. Сепир Э. Язык. Пер. с англ. М., 1934.
8. Якобсон Р. К характеристике евразийского языкового союза. — В кн.: R. Jakobson. Selected writings, v. I, The Hague, 1963.
9. Якобсон Р. Да и нет в мимике. Там же, v. 2.
10. Fopagu, I. Die Metaphern in die Phonetik. The Hague, 1963.
11. Jakobson, R. Relationship between Russian stem suffixes and verbal aspects. In: R. Jakobson. Selected writings, v. 2. The Hague—Paris, 1971.
12. Jakobson, R. Quests for the essence of language, ibidem.

13. Jespersen, O. Growth and structure of the English language. Leipzig, 1905.
14. Vossler, K. Sprache als Schöpfung und Entwicklung. Heidelberg, 1905.
15. Vossler, K. Frankreichs Kultur und Sprache, 2. Aufl., Heidelberg, 1929.
16. Weisgerber, L. Das Gesetz der Sprache, Heidelberg, 1951.
17. Whorf, B. L. Language, Thought, and Reality, Cambridge, Mass., 1956.

К ПОСТРОЕНИЮ КЛАССИФИКАЦИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Э. А. Флоренская

0. Русская грамматическая традиция в разработке учения о сложном предложении (СП) особое внимание уделяла форме соединения его частей, средствам связи, т. е. формальной, или структурной, стороне СП. Семантическая сторона СП, смысловое соотношение его частей оставалось долгое время вне интересов отечественной лингвистики.¹ Работами Н. С. Поспелова начинается период господства так называемого структурно-семантического подхода к СП. Данная концепция, учитывая формальные различия структур СП, выделяет и семантические признаки. Однако чрезвычайно привлекательное в теории сочетание семантического и формального момента в учении о СП в действительности оказывалось несколько неопределенным. Принципы структурно-семантической классификации СП остаются четко не сформулированными; границы между классами довольно расплывчаты. Определить, когда придаточное предложение относится к определенному слову, в главном, а когда ко всему главному предложению в целом, часто бывает нелегко, особенно в случаях приглагольных придаточных предложений. Кроме того, существующие классификации СП [см. 1; 2; 3] ориентируются в основном на сложноподчиненные предложения, оставляя в значительной степени менее разработанными типы сложносочиненного и бессоюзного СП. Само определение понятий подчинения и сочинения, являющееся основополагающим в учении о СП, также нельзя считать вполне удовлетворительным.

1. Предлагаемое описание синтаксических структур сложного предложения строится на следующих принципах.

СП рассматривается как специфическая форма объединения по крайней мере двух смыслов, то есть как семантическая синтагма. Простые предложения, соединяясь в тексте, координируют друг с другом категории времени, вида, наклонения, лица,

¹ Семантический аспект изучения СП получил некоторое развитие в чешской лингвистике.

числа и рода. Части СП почти не отличаются в этом отношении от компонентов сочетания простых предложений (СПП). Данный вывод, сделанный на основе трансформационного преобразования СП в СПП с дальнейшим сопоставлением грамматической связи в СП между его частями и в СПП между его компонентами, позволил предположить, что специфика СП кроется в средствах связи, которые должны формально отражать семантические отношения между частями СП. Семантическая характеристика СП обычно определяется семантикой связочных средств. В случае же бессюжизма семантическую характеристику СП рекомендуется определять в отрыве от лексического наполнения структуры СП, на основе анализа синтаксической структуры, не затрагивая того, что не имеет формального выражения. Весьма сомнительной, однако, кажется возможность определения семантических отношений между частями СП, например в предложении **тонул — топор сулил**, как условно-следственных, если вместо лексического содержания СП имеется лишь его структурная формула Гл. (из. накл., прош. вр., несов. в., 3 л., ед. ч., м. р.) — Суш. (м. р., ед. ч., вин. п.) + Глаг. (из. накл., несов. в., прош. вр., 3 л., ед. ч., м. р.). Собственно, предложения **спал — сон видел** (временные отношения) или **Ездил — мир смотрел** (причинные, разъяснительные отношения) имеют ту же синтаксическую структуру, что и приведенный нами пример В. А. Белошапковой. Поэтому обвинять современных исследователей в несоблюдении чисто синтаксических принципов при определении семантики СП трудно [1, 51]. Так называемое «типовое синтаксическое» создается все же на базе «индивидуально-лексического». Справедливо лишь то, что увлечение лексическим содержанием при определении значения СП приводит к выделению бесконечных семантических разновидностей, действительно имеющих отдаленное отношение к синтаксическим явлениям. Вероятно есть смысл сосредоточить внимание не на конкретном содержании частей СП, а на типах соположения, противопоставления лексических элементов между частями СП. В этом случае открывается теоретическая возможность выделения четырех типов лексических отношений.

I тип. Части СП не имеют общих лексических элементов — находятся друг с другом в отношениях лексического исключения: **Старушка и пудель глядели в окно, но скоро на улице стало темно.** (Марш.)

II тип. Части СП имеют один или несколько общих лексических элементов, связаны лексическим повтором, находятся в отношениях лексического пересечения:

1. **Смотала старушка клубок для чулок, а пудель тихонько клубок уволок.** (Марш.)

2. Искала старушка четырнадцать дней, а пудель по комнате бегал за ней. (Марш.)

III тип. Одна из частей СП содержит указательное местоимение, неинформативное с точки зрения конкретного смысла. Вторая часть СП восполняет собою данное «бессодержательное» местоимение. Происходит смысловое включение содержания одной части в другую. В этом случае части СП находятся друг с

другом в отношениях включения: Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. (Булг.)

IV тип. Части СП лексически полностью совпадают, находятся в отношениях лексического тождества: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить (Маяк.)

Следует отметить, что отношения лексического тождества принципиально не отличаются от отношений лексического пересечения. Лексическое тождество может рассматриваться как частный случай лексического пересечения — полное пересечение лексических элементов. В связи с этим оказывается возможным сокращение числа типов лексических отношений между частями СП до трех. Данные три типа лексического взаимодействия частей СП лежат в основе предлагаемой системы синтаксических структур СП в русском языке. Графически их можно представить следующим образом:

1) исключение (a, b, c) (d, e, f)

2) пересечение (a, b, [c]d, e, f)

3) включение (a, b, [x] (c, d, e))²

Предложенные типы лексических отношений распространяются не только на отношения между частями СП, но и на отношения между компонентами СПП. Это важно отметить, потому что дальнейшее построение системы СП предполагает взгляд на СП как на определенный грамматический способ соединения простых предложений и требует выяснения способов образования СП из СПП.

Таких способов выделяется три. Это не случайное число. Каждый тип лексических взаимоотношений вырабатывает способ образования СП, который наиболее ярким образом реализует особенности данного типа.

Первый способ состоит в том, что структуры простых предложений (ПП), соединяясь в СП, не затрагивают друг друга.

² a, b, c, d, e, — лексические компоненты СП, x — включающее местоимение, скобки показывают лексические границы частей СП.

Происходит полное объединение ПП: $(a, b, c)(d, e, f) \rightarrow [(a, b, c) + (d, e, f)]$.³ СП, образованные данным способом, объединяют свои части не столько на грамматических, сколько на семантических началах и более всего близки к СПП.

СПП: Он шутил. Я злобствовал. (Пушк.)

СП: Он шутил, я злобствовал.

Этот способ наиболее характерен для СПП, находящихся в отношениях лексического исключения.

Второй способ состоит в том, что структура одного из объединяющихся ПП получает синтаксическое место в структуре другого, становится как бы одним из его членов. Происходит грамматическое включение одного предложения в структуру другого: $(a, b, x)(d, e, f) \Rightarrow [a, b(d, e, f)]$. Это уже не автономное, а более тесное объединение, приближающее строение СП к строению ПП.

СПП: Вы уезжаете. Я слышал об этом.

СП: Я слышал о том, что вы уезжаете.

Данный способ является наиболее типичным для СПП, находящихся в отношениях лексического включения.

Третий способ состоит в слиянии повторяющихся лексических элементов в одно представительство, так что оно выполняет роль определенной синтаксической функции как для одной, так и для другой части СП. Этим способом могут объединяться предложения, находящиеся в отношениях лексического пересечения.

1. СПП: К зиме набралось больше работы. К зиме стало веселей.

СП: К зиме набралось больше работы, стало веселей. (Чех.)

2. СПП: Он пришел. Он сидит у ворот.

СП: Он пришел и сидит у ворот.

Описанный способ не всегда приближает СП по конструкции к простому. Возможен случай приближения образовавшегося СП к СПП (См. пример 1.) Близость к СПП или к ПП определяется синтаксической функцией пересекающихся лексических элементов. Если это второстепенные члены, то части образовавшегося СП являются более сопоставимыми с компонентами СПП, так как полностью сохраняют способность к автосемантическому употреблению. Но если пересекающиеся элементы являются главными членами, то взаимопроникновение ПП при объединении становится более глубоким (см. пример 2, где получается предложение то ли сложное, то ли простое с однородными сказуемыми). Еще сложнее слияние предложений в случае общих главных глагольных элементов.

³ В данном случае квадратные скобки обозначают границы всего СП в целом, простые скобки — границы его частей.

СПП: Я люблю ходить быстро. Он любит ходить медленно.

СП: Я люблю ходить быстро, он — медленно.

Здесь одно из объединяющихся предложений, становясь частью СП, полностью теряет способность к автосемантическому употреблению.

Первый из описанных способов назовем **семантическим**, поскольку он по существу мало чем отличается от способа объединения простых предложений в тексте, не посягает на нарушение границ объединяющихся предложений и состоит, собственно, в сообщении предложениям единого интонационного оформления.

Второй можно назвать **синтаксическим**, так как суть этого способа во вставке конструкции одного предложения в конструкцию другого, то есть в построении структуры, подобной структуре простого предложения. От простого предложения СП, образованные этим способом, отличаются лишь тем, что роль второстепенного (или главного) члена предложения выполняет не одно слово или словосочетание, а целое предложение. Формальным показателем данного способа является наличие или возможность введения местоименно-соотносительного слова в главном предложении. Местоименно-соотносительное слово — сигнал синтаксического места придаточного предложения в структуре главного.

Третий способ — **взаимопроникновение** структур объединяющихся предложений, когда один из двух тождественных лексических элементов устраняется и объединяющиеся предложения экономно пользуются одним общим членом предложения, можно назвать **лексическим**.

Три чистых способа образования СП — семантический, синтаксический и лексический могут быть дополнены двумя комбинациями: семантико-лексическим и синтактико-лексическим способами. Существование семантико-лексического способа опровергается невозможностью одновременного взаимопроникновения структур друг в друга и неприкосновенностью их границ. Возможность же лексико-синтаксического способа образования СП предсказывается требованиями системы, а реальное существование его подтверждается примерами СП, которые можно интерпретировать как образовавшиеся данным **совмещенным способом**.

СПП: Я мог быстро идти. Он шел быстрее (того).

СП: Он шел быстрее (того), чем я мог.

В приведенном примере СП образуется не только включением структуры одного предложения в другое, но и сокращением тождественных элементов в конструкции придаточного предложения. Лексико-синтаксический способ образования СП предполагает наличие определенного материала в объединяющихся ПП. Поэтому три типа лексических отношений (исключения, включения, пересечения) должны быть дополнены четвертым

типом лексических отношений, смешанным — типом включения с пересечением (см. вышеприведенный пример).

Каждый из четырех способов образования СП может делиться на подспособы в зависимости от того, какие средства связи имеются в его распоряжении, в зависимости от того, какой материал ему предоставляется. В качестве средств связи для образования СП должны быть рассмотрены интонация, союзы и местоимения. Другими словами, способы свидетельствуют о том, как образованы СП из СПП, а их подспособы — чем.

Независимо от того, какие средства связи имеются в наличии для реализации того или иного способа образования СП, независимо также от выбора самого способа образования СП объединение СПП в СП может происходить с помощью внутренних или внешних средств связи. К внешним средствам связи следует отнести интонацию и союзы. Интонация и союз — это такие средства, которые не содержатся в самом составе предложений, которые объединяющиеся предложения берут извне и которые, образуя СП, не затрагивают каким-либо образом конструктивные элементы предложения, его внутреннее строение. Конструкция предложения остается после объединения СПП в СП внешними средствами в таком же виде, в каком она существовала до него:

СПП: Я встретил знакомого. Поговорил с ним часок.

СП: 1) Я встретил знакомого, поговорил с ним часок.

2) Я встретил знакомого, и поговорил с ним часок.

Первый пример СП образован семантическим способом с использованием одной интонации в качестве материала связи. Второй — образован тем же семантическим способом, но с привлечением конкретного средства связи — союза. Поскольку особая интонация, объединяющая обе части СП в одно «коммуникативное целое», сопутствует любому способу или подспособу образования СП, есть смысл чисто интонационное (по традиционной терминологии — бессоюзное) объединение считать объединением, при котором используется «нуль» материальных средств. Такой вид связи соответственно может быть назван нулевой связью.

Нулевая связь не является привилегией семантического способа. Она может быть использована при всех способах образования СП:

1) Я слышал: вы уезжаете. (синтаксический способ, нулевая связь)

2) К зиме накопилось работы, стало веселей. (лексический способ, нулевая связь)

Эти же самые примеры СП с нулевой связью между частями могут перейти в примеры СП с союзной связью:

1) Я слышал, что вы уезжаете (синтаксический способ, союзная связь)

2) К зиме накопилось работы и стало веселей (лексический способ, союзная связь)

Внешним средствам связи противопоставляются внутренние, к которым причисляются прежде всего местоимения. Объединяясь в СП, простые предложения могут определенным образом приспособлять свою форму к совместному функционированию. Здесь имеются в виду трансформации некоторых элементов лексического состава объединяющихся предложений.

СПП. Танцевали на ковре. Это было неудобно (Булг.)

СП. Танцевали на ковре, что было неудобно

В качестве средства связи в данном случае используется указательное местоимение, которое для объединения видоизменяет свою форму, превращаясь в **что**, что в свою очередь делает предложение неспособным к самостоятельному функционированию. Объединение структур проходит непосредственно через конструкцию одного из предложений. Рассмотренный пример СП классифируется как СП, образованное семантическим способом (не меняются границы объединяющихся предложений) с использованием местоименной связи. Местоименная связь невозможна для предложений, находящихся в отношениях лексического исключения — у них нет внутренних ресурсов для такой связи, остальные же 2 типа лексических отношений вполне могут пользоваться местоименной связью для образования СП.

Четыре типа лексических отношений, возможных между компонентами СПП, теоретически способны образовывать СП четырьмя способами, что дает нам 16 (4×4) классов СП, в которых различным образом взаимодействуют лексические и грамматические признаки. Однако в действительности вероятность реального осуществления того или иного способа образования СП зависит от типа лексических взаимоотношений в исходном

Способ образ. СП Типы лекс. отношений	Исключения	Включения	Пересечения	Включения с пересечением
Семантический	1 +	2 +	4 +	6 +
Синтаксический	—	3 +	—	7 +
Лексический	—	—	5 +	8 +
Лексико-синтаксический	—	—	—	9 +

для него СПП.⁴ В результате исходная схема из 16 классов СП сокращается до схемы из 9 классов. Каждый из девяти оставшихся классов СП может в принципе репрезентироваться в трех разновидностях, в зависимости от материала связи (нулевая, союзная, местоименная связь). Таким образом, 9 основных классов СП разветвляются в 27 подклассов. Вероятность существования данных 27 подклассов, однако, также находится в прямой зависимости от типа лексических отношений в исходном СПП. Вероятно, любые два предложения, в каких бы лексических взаимоотношениях они не находились, можно объединить интонацией и хотя бы каким-нибудь союзом. Другими словами, при семантическом способе объединения (наиболее независимом способе) всегда возможно объединение с помощью внешних средств. Следовательно, по крайней мере для четырех классов (1, 2, 4, 6) можно гарантировать два варианта их репрезентации. Что касается местоименной связи для классов, образованных семантическим способом, то она невозможна для предложений, находящихся в отношениях лексического исключения. Для класса 3, образованного на базе лексических отношений включения синтаксическим способом, нет ограничений, которые делали бы невозможным применение трех видов связи. Сравним: Я знаю, вы уезжаете куда-то (нулевая связь); Я знаю (о том), что вы уезжаете куда-то (союзная); Я знаю о том, куда вы уезжаете (мест.). Класс 5 образован на базе лексических отношений пересечения лексическим способом. Этот класс (как и 3) имеет (или во всяком случае может иметь) в составе объединяющихся предложений конструктивные элементы, позволяющие ему в принципе осуществлять союзную и нулевую связь. Местоименная связь для этого класса СП исключается в силу того, что лексические элементы, которые могли бы в принципе исполнить эту роль, заняты при объединении лексическим способом исполнением другой роли, а именно — роли «коммунальных» членов предложения. Наличие же неинформативного местоимения в одном из объединяющихся предложений автоматически переводит СПП в другой тип лексических отношений. Так что для класса 5 имеем два варианта связи — нулевой и союзный. Классы 7, 8, 9 имеют все конструктивные предпосылки для того, чтобы реализоваться во всех трех вариантах связи. Однако оказывается, что синтаксический способ на базе смешанных лексических отношений имеет некоторые особенности, которые делают невозможным для него использование нулевой и союзной связи. Дело в том, что в этом случае объединение предложений всегда происходит так, что не-

⁴ Невозможен, например, синтаксический способ, если нет особого семантически пустого местоимения в одном из предложений, невозможен лексический способ, если отсутствуют общие лексические элементы.

посредственным материалом для связи служит общая лексика. Например:

СПП: На горе стоял дом. Этот дом сгорел в прошлом году.

СП: В прошлом году сгорел (тот) дом, который (что) стоял на горе.

В данном примере «тот» — показатель синтаксического способа образования СП. Пересекающиеся же лексические элементы (дом в I и во II предложениях) в СПП, приспособляясь к совместному существованию в СП, распределяют «обязанности» так, что один остается при включающем местоимении, второй трансформируется в местоимение **который**, становясь при этом чистым средством связи, теряя свое собственное лексическое наполнение и сохраняя лишь свою синтаксическую функцию. Устранение данного материала связи и замена союзной или нулевой связью невозможна в силу специфики данного типа СП. О классе 8 можно сказать почти то же самое. Имеющееся неинформативное местоимение при лексическом способе объединения на основе смешанного типа лексических отношений всегда выступает как непосредственное средство связи наряду с общими лексическими элементами. Устранение его ведет к изменению типа лексических отношений. Например:

1) СПП: К зиме накопилась работа. **От этого к зиме стало веселее.**

СП: К зиме накопилась работа, отчего стало веселее.

2) СПП: Он пришел. Он сидит при этом у ворот.

СП: Он пришел, при чем сидит у ворот.

Класс девятый, образованный специальным способом на основе смешанного типа лексических отношений, является таким типом СП, когда в качестве непосредственных средств связи выступают лексические элементы по принципу «один на обе части» СП и союз. Это специфика данного типа СП, не допускающего варианты с местоименной или нулевой связью. Например:

1) СПП. У Тани мячик. Я хочу такой мячик.

СП. Я хочу такой мячик, как у Тани.

2) СПП. Вчера (каким-то образом) гремел гром. Сегодня гром гремит тише.

СП. Сегодня гром гремит тише, чем вчера.

Слияние общих лексических элементов при образовании данного класса СП происходит так, что одно из предложений совершенно теряет свою грамматическую самостоятельность, причем оно теряет в составе СП конститутивные признаки предложения так, что они в пределах СП не восстанавливаются. Мы не можем сказать **Я хочу такой мячик, как у Тани мячик**. Не можем мы устранить и союз. Нельзя сказать **Я хочу такой мячик, у Тани**. Невозможно также этот союз заменить союзным словом, так как в этом случае получим другой тип СП, а именно — 7. В **Я хочу такой мячик, который (что) у Тани** принципиально иная конструкция: второе предложение не теряет своей грамматической

сущности, оно только меняет форму, оставаясь при этом предложением.

Итак: 2, 3, 4, 6 классы реализуются во всех трех вариантах связи; 1 и 5 — в двух; 7, 8, 9 — в одном. Итого мы получили 19 подклассов СП.

2. До сих пор нами не затрагивался вопрос об отношениях зависимости между частями СП.

Как известно, отношения зависимости в бинарной синтагме могут проявляться как отношения односторонней зависимости — подчинение, двусторонней зависимости — взаимное подчинение, или координация, и как отношения взаимной независимости — сочинение. Если исходить из этого общего положения, то ограничение видов зависимости в СП подчинением и сочинением кажется ничем не оправданным. Во всяком случае мы имеем полное право предположить действие всех трех типов зависимости там, где обнаружено действие двух его разновидностей.

Что же такое зависимость применительно к специфике СП? В самом абстрактном смысле и в достаточно «домашнем» выражении можно сказать, что зависимым элементом синтагмы является тот, который по тем или иным признакам не может существовать самостоятельно в том виде, в котором он пребывает в синтагме. Тогда независимым элементом будет тот, который не нуждается в каком бы то ни было соединении, чтобы функционировать самостоятельно. Такое более чем приблизительное определение понятия зависимости все же может пригодиться при его конкретизации, при уточнении «места и времени» его действия.

Отношения зависимости между частями СП — вопрос чрезвычайно любопытный и достаточно запутанный. Прежде всего, желательно было бы разграничение семантической и грамматической зависимости. Если сопоставить СП и СПП с точки зрения действия в них этих двух видов зависимости, то можно сказать, что в СПП имеется грамматическая независимость частей друг от друга. Под грамматической зависимостью в данном случае понимается постоянно действующие средства грамматической цельнооформленности, которое мы наблюдаем в СП. В СП возможно выражение всех тех смысловых отношений, которые присущи СПП, но если в СПП они выражаются не грамматическими средствами, а какими-то другими (лексическими, главным образом), то в СП смысловое единство двух предложений оформлено и закреплено специальными грамматическими средствами. Так что говорить о разграничении семантической и грамматической зависимости в СП довольно сложно, но не совсем невозможно. Поскольку типы лексических отношений не только тождественны для СПП и для СП, но и лежат в основе образования классов СП, то тем самым для определенных рядов СПП будут тождественны и действующие между их компонентами отношения семантической зависимости. (Речь идет

о семантических отношениях, выраженных лексически). Но как определить главные и зависимые компоненты семантических синтагм? В данной работе в качестве объективных показателей семантической связи между предложениями рассматривались типы лексических отношений. Следует отметить, однако, что сами по себе типы лексических отношений ничего не говорят о видах зависимости, а лишь свидетельствуют о наличии какой-то связи между элементами синтагмы. В частности, лексический повтор как выражение подобия в значении вовсе не так уж бесспорно обозначает зависимость. Сам факт лексического подобия есть только бесспорный факт семантической связи, выраженной лексическими элементами, но не более того. Можно предположить, что зависимым будет смысл несамостоятельный, неспособный к самостоятельному существованию. Но понятия «неполного» и «незаконченного» смысла останутся совершенно непригодными для употребления, если эту «неполноту» оставить формально не выраженной. В качестве сигнала смысловой несамостоятельности предложения, вероятно, может выступать то самое «бессодержательное» указательное местоимение, которое требует наличия при себе другого предложения, восполняющего собой смысловую неполноту первого, и о котором шла речь при определении лексических отношений включения. В этом случае независимым будет предложение, которое не содержит такого включающего местоимения, зависимым — то, которое его содержит. Семантическая синтагма, оба компонента которой имеют по включающему местоимению, может интерпретироваться как синтагма с координационными отношениями. И наконец, если оба члена синтагмы обошлись без соответствующего местоимения, то отношения между ними могут считаться сочинительными.⁵ Эти же самые семантические отношения действуют в СП и даже имеют то же самое формальное выражение, — включающее местоимение, которое может в СП видоизмениться, но сохраняет за собой функцию выражения семантической связи между частями СП.

Грамматическое выражение единства для СПП равно нулю, то есть мы можем в этом смысле считать компоненты СПП взаимонезависимыми. Если компоненты СПП независимы по отношению друг к другу, то для частей СП подобная независимость невозможна, поскольку они «официально», уже в силу одной специфической интонации суть смысловые единства, независимо от того, сколько синтаксических единиц в них содержится. СП превращает сочетание двух предложений в обязательное соединение, которое может быть очень близким к СПП, а может, наоборот, приближаться к ПП. Именно исходя из этого факта и возникли неразрешимые споры о том, что же такое со-

⁵ Разумеется, предлагаемый показатель семантической (точнее лексической) зависимости не исключает существования каких-либо других.

ставляющие СП, части или самостоятельные предложения?⁶ Если расположить описанные ранее способы образования СП по шкале, на одном конце которой будет стоять СПП, а на другом — ПП, то семантический способ будет следовать сразу за СПП. Непосредственно перед противоположным концом шкалы станет лексико-синтаксический способ, который, объединяя два самостоятельных предложения в одно, не только уподобляет структуру СП в целом структуре простого, обозначая включающим местоимением четкое синтаксическое место одного предложения в составе другого, но может вообще лишать это предложение статуса предложения, превращая в нуль те элементы его состава, которые оказались общими с другим предложением, включающим. Синтаксический способ должен стать перед лексико-синтаксическим, так как он лишь уподобляет структуру СП структуре ПП, но не посягает на признаки предложения как такового. Лексический способ расположится между синтаксическим и семантическим. Этот способ не делает конструкцию СП похожей на конструкцию ПП, так как он является способом, сохраняющим принципы соединения частей как компонентов СПП. Данный способ объединяет предложения так, что они остаются самостоятельными предложениями, но имеют сближающие их общие функции. Сущность способов образования СП проявляется ярче в сопоставлении СП с «исходным материалом», т. е. с СПП.

1) **Семантический способ.**

СПП: Он уехал в деревню. Он устал.

СП: Он уехал в деревню, потому что он устал.

2) **Лексический способ.** (Исходное СПП то же)

СП: Он устал и уехал в деревню.

3) **Синтаксический способ.**

СПП. Он уехал в деревню. Все знали об этом.

СП. Все знали (о том), что он уехал в деревню.

4) **Лексико-семантический:**

СПП. У Тани мячик. Я хочу такой мячик.

СП. Я хочу такой мячик, как у Тани.

Шкала перехода СПП в СП здесь проиллюстрирована только основными способами образования СП. Ее можно было бы представить в делениях подспособов, и тогда ярче выделилась бы постепенность перехода формы СПП в форму ПП, который осуществляется средствами СП. Другими словами, отношения между двумя предложениями (двумя целыми единицами) в СП постоянно стремятся перейти в отношения между предложением и его составным элементом (в отношения целого и его части). Следовательно, мы можем сказать, что характерный принцип организации СП — это стремление «подчинить» одно

⁶ См. об этом [4; 5; 6; 7].

предложение другому, сделать одно предложение структурным элементом другого, включить одно предложение в дерево зависимости другого.

С другой стороны, в подавляющем большинстве случаев, части СП конструктивно остаются предложениями, и тем самым они остаются пусть семантически менее самостоятельными, но все же формальными единицами синтаксиса, которые взаимодействуют как смыслы. Следовательно, мы имеем право говорить о сохранении отношений двух предложений в пределах СП.

Таким образом, в пределах СП между его частями действуют два типа синтагматических отношений: семантическое взаимодействие двух смыслов и грамматическое взаимодействие двух конструктивных принципов организации целого. Два вида зависимости назовем семантической и грамматической зависимостью, несмотря на их терминологическую многозначность. Неудачны данные обозначения еще и потому, что то, что в данном описании названо **грамматической зависимостью**, поставлено на службу семантическому единству, а то, что названо **семантической зависимостью** имеет также грамматическое оформление. Несмотря на все эти минусы, мы оставляем для двух видов «подчинения» название **грамматического** и **семантического**, так как они при описании типов СП достаточно ярко отражают взаимодействие этих двух моментов в СП (конечно, не абсолютных, а достаточно условных в пределах СП).

Мы подошли к самому сложному пункту вопроса о «подчинении» в СП, к вопросу о том, как определяются отношения зависимости. Способы и подспособы образования СП — это формы связи, типы форм связи, которые составляют внешний план. Об отношениях зависимости между частями СП план выражения ничего сам по себе не говорит.

Если конструкция СП в целом имеет тенденцию стремиться к принципам организации ИП, то, вероятно, грамматические отношения зависимости в СП могут определяться аналогично тому, как они определяются в простом, то есть операцией свертывания. Действительно, последовательное устранение сначала элементов одной части, затем — другой в пределах всего СП устанавливает в одной из частей слово, устранение которого невозможно без нарушения смысловой и грамматической правильности СП. Таким образом, если свертывание возможно в обе стороны, то есть, если ни в одной из частей СП не находится элемента, устранение которого невозможно без нарушения правильности СП, можно сказать, что части в подобном СП находятся в отношениях грамматического сочинения. Наличие такого элемента в одной из частей позволяет утверждать, что части СП находятся в отношениях грамматического подчинения. И наконец, имеются СП, которые в обеих частях содержат подобные «главные» слова и части таких СП, следовательно,

находятся в отношениях взаимного грамматического подчинения.⁷

Признаки семантической зависимости обосновать сложнее. Выше мы уже говорили о том, что показателем семантической зависимости может быть включающее местоимение. Но данный показатель действителен только для предложений с определенными лексическими взаимоотношениями. Другими словами, данный показатель выражает семантическую зависимость, которая находит выражение в лексике. Вероятно, семантические отношения между предложениями (и соответственно, между частями СП) этим не исчерпываются.

Известно, что определенный порядок расположения языковых единиц служит сигналом синтаксических отношений между ними. Для русского языка с его развитой системой морфологических показателей связи не характерен жестко фиксированный порядок слов в ПП. Можно ли то же самое утверждать относительно порядка расположения предложений в тексте вообще, и частей в СП частности? Видимо, нет. Изменение взаиморасположения частей в СП часто ведет к достаточно сильному искажению его первоначального смысла. Данный факт позволил нам взять в качестве признака, определяющего семантическую зависимость частей СП друг от друга, — свободу и фиксированность их взаимного расположения. Если части СП могут свободно передвигаться относительно друг друга, то они находятся в отношениях относительной семантической независимости. Обратное, если части СП имеют жестко фиксированный порядок расположения, они семантически взаимозависимы, так как в данном случае именно определенный порядок расположения частей обеспечивает определенный смысл целого. Семантическое подчинение одной части СП другой, видимо, все же должно предполагать включение содержания одной части в содержание другой, что, как известно, и проявляется достаточно выразительно в способности разрыва одной структуры другую в пределах СП. Вероятно, неслучайно признак подчинения, открытый А. М. Пешковским, для СП действовал безукоризненно именно в случае чисто союзной связи, то есть в тех случаях, где взаимодействовали «чистые смыслы», не осложненные грамматической (конструктивной) зависимостью друг от друга.

Итак, в качестве формальных показателей отношений между частями СП нами приняты свертываемость (для определения грамматической зависимости) и свобода передвижения частей относительно друг друга (для определения семантической зависимости). Выше уже говорилось о том, что в СП означенные виды зависимости взаимодействуют, взаимно ограничивая или поддерживая друг друга.

⁷ Вопрос об операции свертывания для СП более подробно рассмотрен в [8].

Все возможные варианты сочетания грамматической и семантической зависимости могут быть исчислены (см. таблицу).

Особый интерес представляют три «клетки» в данной таблице, в которых наблюдается совпадение грамматических и семантических тенденций. Точнее было бы сказать, что особого внимания заслуживают не сами «клетки», а типы СП, в которых реализуется это совпадение семантических и грамматических интересов. В этих типах СП ярче всего должны осуществляться общие идеи сочинения, подчинения и координации, как грамматической, так и семантической. Данные СП должны рассматриваться как сильные маркированные типы. Остальные СП интересны противоположным влиянием друг на друга, что должно будет проявиться в ослаблении соответствующих идей грамматической и семантической зависимости, и в результате чего данные СП должны будут определяться как слабые немаркированные типы.

Грам- матичес- кая зави- симость \ Семантическая зависимость	сочинение	подчинение	координация
	1. граммат. и семантич. сочинение	2. граммат. сочинение и семантич. подчинение	3. граммат. сочинение и семантич. координация
сочинение			
подчинение	4. граммат. подчинение и семантич. сочинение	5. граммат. и семантич. подчинение	6. граммат. подчинение и семантич. координация
координация	7. грамматич. координация и семантич. сочинение	8. грамматич. координация и семантич. подчинение	9. грамматич. и семантич. координация

ЛИТЕРАТУРА

1. Белошапкова В. А. Сложное предложение в современном русском языке. М., 1967.
2. Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения. М., 1969.
3. Ильенко С. Г. Вопросы теории сложноподчиненного предложения в современном русском языке. Докт. дисс., Л., 1964.
4. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956.
5. Z. Klemensiewicz. Zarys skladni polskiej. Warszawa, 1957.
6. Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. М., 1935.
7. Поспелов Н. С. Проблемы сложносинтаксического целого в современном русском языке — «Уч. зап. МГУ», вып. 137. М., 1948.
8. Флоренская Э. А. Дихотомия «сочинение/подчинение» в сложном предложении (в печати).

СИНТАКСИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ И ИНФИНИТИВ

В. Щаднева

Объектом рассмотрения в данной статье являются инфинитивные фразовые сегменты (Ф/С)¹ исключительно с независимым инфинитивом, то есть те, которые обычно включаются в группу инфинитивных предложений. Мы остановимся на специфическом значении инфинитивных синтаксических единиц: модальной оценке действительности.

Модальность² как функционально-семантическая категория — явление широкое. Выражается она различными средствами:

1. морфологическими (категория наклонения);
2. лексическими (междометия, модальные слова, вводные слова и т. д.);
3. синтаксическими.

И если категория наклонения, которая представляет собой ядро функционально-семантической категории модальности, разработана довольно обстоятельно, если отдельные группы лексических средств модальности также представлены (хотя и несистемно) в различных работах, то о синтаксической модальности либо только упоминается (1/120), либо под ней практически понимается объективная модальность, которая формируется комплексом некоторых грамматических значений (5/542, 544), либо трактуется расширительно как совокупность различных (морфологических, лексических) средств (9). Сложившаяся ситуация не только ведет к разнобою в терминологии, но и становится причиной того, что подобные понимания рассматриваемого нами явления не вскрывают сущности понятия «синтаксическая модальность».

Под синтаксической модальностью мы понимаем выражение различных модальных значений определенными разрядами син-

¹ См. о понятии Ф/С в (3), стр. 154.

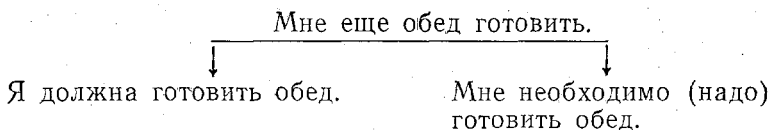
² Мы придерживаемся понятия модальности, данного А. В. Бондарко и Л. Л. Булагиным (1/120).

таксических конструкций. Одной из групп таких конструкций и являются инфинитивные Ф/С.

При ближайшем рассмотрении данные синтаксические единицы поражают исследователя разнообразием различных модальных значений, которые в свою очередь создаются различными средствами. Причем нередко довольно трудно отнести конструкцию к тому или иному конкретному значению (хотя это и не исключено), в силу того, что на синтаксическую единицу как бы накладываются различные оттенки модальных значений, сопутствующие некоторому основному значению, например:

1. Поехать бы на лодке! (желательность).
2. Тебе бы бросить курить. (пожелание с оттенком необходимости).
3. Отцу бы художником стать! (сожаление, желательность с оттенком необходимости).

Именно тот факт, что включение инфинитивных Ф/С в то или иное определенное модальное значение — вопрос довольно спорный, и является причиной компромиссного решения проблемы, которое принимают исследователи инфинитивных предложений. Это решение заключается в том, что различные частные оттенки объединяются под термином «общего модального значения», например, «желательности», «долженствования» (6/37). Подобный компромисс, опять-таки, ведет к расхождению в терминологии. Так, в (7) вместо понятия «долженствование» используется термин «необходимость» и как синоним последнему — «неизбежность». Однако если долженствование и необходимость имеют общий момент:



— то отождествление «необходимости» и неизбежности неправомерно. Как отмечает Галкина—Федорук (2/223), «в необходимость включается момент личной воли, в то время как в неизбежности проявление личной воли устранено». Сравните:

1. Быть тебе голодным!
Быть метели!
(неизбежность, отсутствует выражение необходимости).
2. Мне еще обед готовить.
Отцу на работу идти.
(необходимость, а неизбежность здесь не выражена).

Наблюдения показывают, что в инфинитивных Ф/С на первый план выдвигается одно какое-либо значение, которое может сопровождаться некоторым дополнительным оттенком какого-либо другого значения.

чистые случаи	{	1. Мне всё переделывать заново. (необходимость).
		2. Поехать бы на лодке! (желательность)
смешанные случаи	{	3. Нам бы пол покрасить. (желательность + необходимость)
		4. Тебе бы учиться дальше. (пожелание, совет + необходимость)
		5. Не опоздать бы. (желание не совершить действие в силу необходимости)

В примерах 3, 4, 5 варьируются два значения: желательности и необходимости. Какой же из них считать основным? По Галкиной—Федорук, например, все эти Ф/С должны быть отнесены к общему значению необходимости (2/224—225), Лекант же считает, что они обладают общим значением желательности (6/37). На наш взгляд, прав Лекант, так как объединение модальных значений под «общим» модальным значением в данном случае имеет некоторое структурное обоснование (в приведенных примерах — «бы» как обязательный структурный компонент). За «общим» модальным значением стоит, таким образом, определенная структурная схема (более или менее жесткая), оно детерминировано этой схемой. Это отнюдь не означает, что одному значению соответствует одна единственная схема (см. таблицу, стр. 66—67). Здесь мы имеем в виду так называемые чистые случаи:

1. Видеть ее, проститься, пожать ей руку!
2. Отдохнуть бы!

Структурные схемы разные, однако отсутствие частицы «бы» в первом примере не мешает отнести Ф/С к значению желательности.

Итак, инфинитив в независимом употреблении приобретает некоторую модальную окрашенность вне зависимости от лексического значения самого инфинитива и от лексического значения других слов.³ Любой инфинитив в конструкции (и только в конструкции) модален. Языковая система как бы закрепила за определенными схемами инфинитивных ф/с некоторые значения модальности. А частные реализации этого значения, то есть оттенки его, зависят, на наш взгляд, как от конкретного лексического наполнения, так и от ситуации употребления той или иной инфинитивной конструкции, с которой эти конкретные лексические компоненты непосредственно связаны. Как пишет Р. В. Пазухин, «... мы не всегда обращаем внимание в теории на обя-

³ См. об этом в (10), стр. 265.

зательное согласование семантики слов с ситуацией, в которой происходит общение» (8/171).

Модальность как отношение к высказываемому в определенной степени связана с экспрессивностью, эмоциональностью. А так как в формировании последних важную роль играет интонация, то, изучая инфинитивные ф/с, невозможно избежать апелляции к ней ввиду того, что отдельные виды этих синтаксических единиц характеризуются особыми интонациями. Причем интонационный рисунок здесь не нечто факультативное, как в случае с повествовательными предложениями, где на конструкцию могут накладываться различные интонационные схемы, в результате которых предложение становится носителем дополнительной модальной нагрузки (например, значений восторга, удивления, гнева и т. д.). Отвлечение интонационного рисунка от инфинитивной конструкции влечет за собой потерю ею своего специфического значения.⁴ Возьмем наиболее яркий пример:

Где ему учиться!!

Произнесенная с особой восклицательной интонацией, данная синтаксическая единица является носителем модального значения невозможности действия. Лишенная же интонационного рисунка, она теряет данное значение. Эта же самая конструкция, сопровождаемая вопросительной интонационной схемой, становится вопросительным предложением со значением необходимости действия:

Где ему учиться?⁵

Итак, факт зависимости значения от интонационного рисунка свидетельствует в пользу введения интонации в состав синтаксической единицы с независимым инфинитивом, в ее структурную схему.

Прежде чем перейти к рассмотрению этих схем, необходимо остановиться на следующем. Анализ инфинитивных конструкций показывает, что их целесообразно рассматривать в пределах четырех групп. Дело в том, что значения, выражаемые инфинитивными ф/с, в определенной степени находят аналогию в морфологической системе наклонения. Это и позволяет нам в пределах инфинитивных синтаксических единиц выделить группы конструкций с подобным отношением высказывания к действительности. Группы эти следующие.

I. Представляет аналогию изъявительному наклонению. Значение, которое выражают единицы этой группы, условно можно назвать реальным:

⁴ См. об этом (4), стр. 94.

⁵ Приведенные примеры, кстати, лишний раз доказывают, что инфинитив (как в вопросе, так и в утверждении) — носитель некоторого модального значения.

1. А он кричать! = Он начал кричать. Он закричал.
2. Мальчик бежать! = Мальчик бросился бежать.

II. Второй тип конструкций сближается с повелительным наклонением. Это своего рода **побудительное** модальное значение, имеющее разную степень побуждения:

1. Стоять! {
2. Не смеяться! { (категорический приказ)

3. Учиться, учиться и еще раз учиться! (призыв)

III. Находит аналогию в системе наклонения лишь частично, в одном из значений: желательности. Ф/с с этим значением сближаются с сослагательным наклонением:

Мне бы отдохнуть!

В эту же группу мы относим и синтаксические единицы со значением необходимости и неизбежности, а также вопросительные инфинитивные конструкции, так как последние в зависимости от структурной схемы являются обязательными носителями или модального значения возможности, или значения необходимости.

1. Пригласить его? (вопрос о возможности действия)
2. Сколько раз повторять? (вопрос с оттенком необходимости действия)
3. Нам вместе работать. (необходимость)
4. Сегодня быть метели. (неизбежность)

На наш взгляд, объединение всех приведенных выше ф/с может быть осуществлено на том основании, что все они выражают не действительную реальность, а лишь потенциальную. Действия, которые называют инфинитивы данной группы, могут совершиться, а могут остаться лишь указанием на них. Так, конструкция:

Мне брата встречать.

— не содержит сведений о том, совершится ли это действие вообще. Конструкция лишь указывает, что это действие необходимо. Это, кстати, доказывается тем, что в конкретном акте коммуникации часто дается конкретизация сведений, имеющихся в инфинитивном ф/с. Сравните:

1. Мне брата встречать. А я не успею. Не пойдешь ли ты на станцию? (то есть, встречать надо, но это действие мною не осуществится).
2. Мне брата встречать. Так что я уйду от вас в шесть (действие необходимо, и оно осуществится мною).

Аналогичная ситуация наблюдается и в конструкции
Сегодня быть метели!

Кроме выражения категорической неизбежности, подобные ф/с содержат еще и момент личного отношения к этой неизбежности:

Отношение высказывания к действительности	Схемы инфинитивных конструкций	Отношение говорящего к высказыванию	Примеры конструкций
1	2	3	4
Побудительное действие	1 (Neg) Inf! 2 Inf D!	Категорический приказ + долженствование Призыв + необходимость	Стоять! Не смеяться! Выполнить план на 100%!
Реальное действие	3 N, Inf _{нсв} (!)	Начало, резкий приступ к действию	Мать его не трогает, а он кричать.
Потенциально-реальное действие	4 (Dat) бы (Neg) Inf(!)	а) желательность б) желательность + необходимость в) пожелание (совет) + необходимость г) желание не совершить действие + необходимость	Поехать бы на лодке! Добраться бы нам до города. Тебе бы учиться. Вам бы не курить. Не опоздать бы. Не устроить бы вам пожара.
Ирреальное действие	5 Inf ⁿ (!) 6 Dat Inf. 7 Inf так Inf. 8 Interr Inf? 9 Inf?	а) желательность б) желательность + необходимость согласие на необходимость вопрос о необходимости вопрос о разрешении на действие (вопрос о необходимости)	Видеть ее, проститься, пожать ей руку... Танцевать! Танцевать до утра! Забывать все горе и улыбаться! Нам вместе работать. А мне все это прочитать. Веселиться так веселиться. Сколько раз повторять? Что же предпринять? Начинать? Включить радио? Пригласить его?

1	2	3	4
	10 Разве, неужели Inf?	а) вопрос-сомнение + необходимость б) вопрос-сомнение + неизбежность	Разве у брата спросить об этом? Неужели нам погибнуть?
	11 а) (Dat) Acc Neg Inf _{св.} б) (Dat) Gen Neg Inf _{св.} 12 (Dat) Neg Inf _{св.} 13 а) (Dat) Inf Neg Pron _(2...) б) (Dat) Inf Neg Adv. 14 Dat Acc Neg Inf _{нсв} 15 Neg Inf _{нсв} же (Dat)! 16 Interr (Dat) Inf! 17 N ₁ — Inf?!	невозможность невозможность невозможность невозможность + желательность эксклюзивная невозможность эмфатическая невозможность «метаневозможность»	Отца не переспорить. Магнитофон не исправить. Всех вопросов не решить. В автобус не влезть. Здесь и поговорить не с кем. Пойти ей некуда. Машину нам не покупать. Дом ему не строить. Не плакать же ему! Не наказывать же его! Где ему закончить институт! Куда уж спорить! Он — рисовать?! Эта девушка — занять первое место?!

Сегодня быть метели! = Я думаю, что сегодня обязательно будет метель.

То есть,

Сегодня быть метели \neq Сегодня будет метель.

Итак, третью группу инфинитивных ф/с можно назвать **потенциально-реальной**.

IV. Последняя группа не имеет соответствия в системе наклонения. Значение, выражаемое ею, можно назвать **ирреальным**. Заметим, что термин «ирреальный» мы понимаем как принципиально невозможный в силу каких-то причин.

1. Отца не переспорить.
2. Куда ему написать картину!
3. Здесь и поговорить не с кем.
4. Он — рисовать?!
5. Мне — все прочитать?!

Использование частицы «не» в данных конструкциях не означает, однако, отрицания самого действия, выраженного инфинитивом. Сравните:

1. Отца я не переспорю.
2. Отца я не переспорил.
3. Отца я не могу переспорить.
4. Отца мне не переспорить.

Примеры показывают, что перед нами не отрицание действия, а отрицание возможности этого действия.

Таким образом, группа инфинитивных ф/с в отношении модальности представляет собой как бы два плана. С одной стороны, она выражает отношение высказывания к реальной действительности: реальное, побудительное, потенциально-реальное, ирреальное действия. Это то, что может быть названо объективной модальностью. С другой стороны, налицо соотносительность высказывания с говорящим. В этом плане говорящий выражает свое отношение к тому, о чем он сообщает: указывает на желательность, необходимость, невозможность (и т. д.) действия. Здесь перед нами субъективная модальность.

Изложенное выше можно представить в виде сводной таблицы структурных схем инфинитивных синтаксических единиц с указанием обоих модальных планов. Символы для обозначения схем, а также некоторые схемы частично заимствованы из Академической грамматики (<3>, стр. 546, 571). Кроме этого, используются следующие обозначения:

- 1) Dat. — имя в дательном падеже;
- 2) D — распространитель инфинитива (детерминант);
- 3) СВ — инфинитив совершенного вида;
- 4) НСВ — инфинитив несовершенного вида;

- 5) отсутствие указания на вид означает использование инфинитива любого вида;
- 6) круглые скобки () используются для обозначения факультативного компонента структуры;
- 7) Infⁿ — обязательное нанизывание инфинитивов;
- 8) для хотя бы приблизительного указания на интонацию, в схемах применяются тире (обязательное паузирование), вопросительный и восклицательный знаки.

В таблицу не включены инфинитивные ф/с, выражающие условие, уступление, сравнение и другие оттенки значения в **сложных** предложениях. Эти конструкции весьма многообразны по своей структуре (2/236—238) и заслуживают особого анализа.

Итак, способом формирования инфинитивных структур оказывается сочетание некоторых моментов, причем на первый план может выдвигаться один из них, детерминируя определенное модальное значение. Назовем эти моменты:

I. Интонационное оформление:

- 1) а) Где ему играть в футбол?
- б) Где ему играть в футбол!
- 2) а) Она кричать!
- б) Она — кричать?!

II. Обязательные лексические компоненты: частицы «не», «бы», «же», «так», «разве», «неужели». Извлечение их из конструкции разрушает модальное значение ф/с.

1. Пойти **бы** в театр!
2. **Не** опоздать **бы**.
3. **Неужели** нам погибнуть?
4. **Не** бить же мальчика!
5. Спать так спать.
6. В автобус **не** влезть.

III. Грамматические параметры: наличие инфинитива совершенного или несовершенного вида; обязательное присутствие имени в определенном падеже (им. п., дат. п., вин. п.);

1. Она бежать!
2. Вам вместе жить.
3. Машину нам не покупать.

Необходимо отметить, что в инфинитивных конструкциях дательный падеж — обычная форма, которая допускает опущение для местоимений 1 л. ед. ч. То есть здесь имеет место явление местоименной субституции, причина которой в ситуативно-бытовом контексте.⁶ Опускание же существительных или местоимений 2 и 3 лица невозможно. Наблюдается как бы две степени отношения имени в дательном падеже к опущению:

⁶ О понятии субституции и ситуативно-бытового контекста см. в: В. Щаднева, К вопросу о природе явления субституции (в печати).

1. опущение невозможно даже в 1 л. ед. ч.:
Мне работу закончить.
2. опущение возможно только для 1 л. ед. ч.:
а) Поехать бы на лодке!
б) Вам поехать бы на лодке!

Таким образом, наличие определенных способов формирования, детерминирующих некоторое общее модальное значение, и тот факт, что модальность инфинитив приобретает только в конструкциях, организованных теми или иными способами, свидетельствует в пользу структурного (несмотря на многообразие структурных схем) происхождения синтаксической модальности; в пределах группы инфинитивных синтаксических единиц модальность включает в себя два момента: объективный (отношение всего высказывания к действительности) и субъективный (отношение самого говорящего к высказыванию). Разумеется, поиски других конструкций с синтаксической модальностью могут внести уточнения в это понятие, однако суть останется: синтаксическая модальность, как модальность, выраженная конструктивно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондарко А. В., Буланин Л. Л. Русский глагол. Л., 1967.
2. Галкина-Федорук Е. М. Безличные предложения в современном русском языке. М., 1958.
3. Гаспаров Б. М. Из курса лекций по синтаксису современного русского языка. Простое предложение. Тарту, 1971.
4. Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык, ч. II, М., 1968.
5. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
6. Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М., 1974.
7. Небыкова С. Связь модальности инфинитивных предложений с развитием видо-временной системы русского языка. — В кн.: Вопросы синтаксиса русского языка. Ростов-на-Дону, 1971.
8. Пазухин Р. В. Целенаправленность высказывания. — «Уч. зап. ЛГУ», Серия филологических наук. Вып. 60, № 301. Л., 1961.
9. Пете И. Типы синтаксической модальности в русском языке. Будапешт, 1970.
10. Тимофеев К. А. Об основных типах инфинитивных предложений в современном русском литературном языке. — В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950.

К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ДЕТСКОЙ РЕЧИ

А. Родима

Язык представляет собой определенную систему грамматических явлений, находящуюся в состоянии постоянного и непрерывного развития и движения. Все компоненты языка развиваются стихийно, на протяжении многих столетий, испытывая воздействие со стороны разного рода общественных факторов. Компоненты языка находятся в определенных взаимодействиях. Способ действия и взаимодействия грамматических явлений языка проявляется в сфере общения, которая является основной функцией языка. С этой целью в языке постоянно происходят процессы, направленные на улучшение системы коммуникативных средств.

Все действующие в языке грамматические явления изучены и обобщены на основе исследования речи взрослых носителей данного языка.

Нас заинтересовал вопрос: как действуют некоторые правила грамматики в речи детей.

Известно, что речь — это развивающийся процесс, который начинается с момента говорения и продолжается в течение всей жизни. Ребенок школьного возраста не владеет своим родным языком в достаточной мере. Обогащение языковым материалом продолжается на протяжении всего школьного возраста. Об этом свидетельствуют, например, сочинения старшеклассников, которые полны речевых ошибок. В то же время дети говорят совершенно свободно, без всякой задержки могут выразить любую мысль.

Представляется целесообразным различать, с одной стороны, понятие **свобода речевых реакций** и, с другой стороны, **богатство языка**, т. е. языковой репертуар тех средств, которыми пользуется ребенок в речетворчестве.

Под свободой речевых реакций нами понимается готовность ребенка к речевой деятельности в любых жизненных ситуациях, его способность вступать в речевые взаимодействия для осуществления процесса коммуникации. Его речевые действия совер-

шенно свободны, произвольны. Ребенок с уверенностью использует необходимые ему речевые средства для моделирования своего высказывания, легко и непринужденно ориентируется в любых сферах общения, которые предъявляет ему его жизненная практика, принимает активное участие в процессе коммуникации.

Но, с другой стороны, языковой репертуар тех средств, которыми пользуется ребенок для выражения своих мыслей, сравнительно небогат. Человек владеет языком как инструментом общения в таком объеме, в каком требует от него жизненная практика для реализации естественных речевых потребностей. Ребенок, моделируя свое высказывание, использует известные ему средства языка. Он способен дать речевую реакцию в любых речевых ситуациях и не останавливается при выражении своих мнений ни в одной ситуации. Если же он затрудняется в употреблении каких-либо речевых средств, он интуитивно находит им рабочие адекватные замены, т. е. моделирует свое высказывание из более простых речевых средств.

Из всего сказанного следует, что дети владеют языком свободно. Но какими средствами языка они пользуются при моделировании своего высказывания, тождественны ли эти речевые комбинации в количественном и качественном отношении тем, которые используют в своей речи взрослые носители данного языка? В этом вопросе сосредоточено много проблем и решить их в одном исследовании невозможно.

Целью нашего исследования являются особенности функционирования глагольно-именных конструкций и синонимичных им по смыслу словосочетаний в речи детей школьного возраста.

Под глагольно-именной конструкцией нами понимается сочетание глагола с зависимой падежной формой имени существительного, синонимичная по смыслу конструкция выражает то же смысловое содержание другими речевыми средствами.

Наше предположение состоит в том, что в речи детей школьного возраста наблюдаются случаи замены одних глагольно-именных конструкций другими.

Для подтверждения выдвинутого предположения мы решили провести анализ детской речи. С этой целью мы записали на магнитную ленту устную речь учащихся 5—10 классов русских школ и пионерских лагерей, т. е. в качестве информантов выступали дети в возрасте 12—17 лет, для которых русский язык является родным. Информанты сгруппированы по двум возрастным этапам: средний этап — учащиеся 5—8 классов и старший этап — учащиеся 9—10 классов. При записях речи учащихся мы пользовались магнитофоном «Десна». Всего записано по среднему этапу 24 тысячи фраз, по старшему — 21 тысяча.

Как и следовало ожидать, анализ материала показал, что в речи детей действует целый ряд синонимичных замен одних конструкций другими.

Сопоставление речи двух возрастных этапов позволяет, на наш взгляд, выделить в речи детей следующие замены:

1. Замена глагольного предложения связочным.
2. Пропуск падежной формы существительного при глаголе.
3. Замена падежной формы придаточным предложением.
4. Замена более сложной конструкции более стандартной.
5. Замена глагольного предложения безглагольным (эллипсисами).

Следует подчеркнуть, что говоря о заменах одних конструкций другими в речи детей, мы тем самым не отрицаем наличия данных замен в речи взрослых носителей языка. Несомненно, в речи взрослых функционируют те же конструкции, так как стремление к простоте высказывания и к синкретизму в области означающего, достигающиеся путем выбора средств выражения и заменой одних сочетаний другими, свойственны устной речи вообще. Однако значительное преобладание замен в речи детей среднего возрастного этапа по сравнению с речью учащихся старшего этапа позволяет предположить, что замены одних конструкций другими в речи учащихся среднего возраста — это приемы компенсаций умений и навыков в речи, благодаря которым дети при ограниченных знаниях могут выразить любую мысль.

Перейдем к рассмотрению перечисленных замен.

1. Замена глагольного предложения связочным

Прежде чем приступить к анализу и описанию данных предложений, необходимо дать некоторое пояснение относительно терминов глагольное и связочное предложения. В данной статье мы условно назовем глагольным предложением предложение с глагольным сказуемым, а связочным — со связочным сказуемым. Но поскольку нет единого решения вопроса о материальном содержании сказуемых, то необходимо указать, какое содержание вкладывается нами в эти понятия.

В этой статье мы будем придерживаться точки зрения Б. М. Гаспарова.¹ По его теории сказуемое в простом предложении может быть связочным или глагольным в зависимости от конструирующего вербального элемента, которым в связочном сказуемом является связка или полусвязка (или их производные), в глагольном — глагол или его производные (инфинитив).

Анализ детской речи показал, что употребление связочных предложений — довольно частое явление в речи детей. Всего в наших материалах связочных предложений в речи учащихся среднего школьного возраста насчитывается 1947, в речи уча-

¹ Б. М. Гаспаров. Из курса лекций по синтаксису современного русского языка. Простое предложение. Тарту, 1971, стр. 80—83.

щихся старшего школьного возраста — 1650, из них с глаголом «быть» на среднем этапе — 1143 предложения, на старшем этапе — 726 предложений, с нулевой формой связки в настоящем времени на среднем этапе — 804 предложения, на старшем этапе — 924.

Как показывает анализ, глагол «быть» употребляется в речи детей среднего школьного возраста значительно чаще по сравнению с речью детей старшего школьного возраста. Следует отметить широкое использование глагола «быть» вместо других глаголов. Диапазон значений, в которых используется этот глагол, чрезвычайно богат и разнообразен. Но это явление не случайное. Дело в том, что глагол «быть», являясь в предложении отвлеченной связкой, по своей семантике требует информативно восполняющего слова, в качестве которого может примыкать к нему любая часть речи. Эта способность примыкать делает данный глагол легко употребляемым речевым средством при моделировании высказываний. Этим свойством примыкать глагол «быть» отличается от всех других глаголов, требующих от зависимого слова определенной падежной формы.

Из сказанного следует, что глагол «быть» легче употребим в речи по сравнению с другими глаголами, требующими усвоения и запоминания правил их сочетания.

Следовательно, в данном случае, как нам кажется, можно предположить вполне закономерное недостаточное владение некоторыми глаголами по сравнению с глаголом «быть». В то же время необходимо отметить, что когда мы говорим о недостаточном владении некоторыми глаголами, это не значит, что ребенок не знает этих глаголов, не усвоил правил сочетаемости данного глагола с другими словесными единицами и не употребляет их в своей речи. Это может означать лишь недостаточно быструю реакцию, и тогда дети имеют тенденцию употреблять реже ту конструкцию, которая хуже освоена.

По нашим наблюдениям довольно большому количеству связочных предложений (в речи детей среднего школьного возраста — 48%, в речи старших учащихся — 41%) соответствуют синонимичные по смыслу глагольные предложения. Предпочтение связочных предложений глагольным позволяет считать данные связочные предложения заменителями глагольных.

При сопоставлении связочных предложений с соответствующими им по смыслу глагольными предложениями в большинстве случаев выявляется несоответствие падежной формы существительного, т. е. замена глагола «быть» полнозначным глаголом влечет за собой изменение падежной формы существительного.

Связочные предложения, которые соответствуют по смыслу определенным глагольным предложениям, целесообразно рассматривать по типам сказуемых.

А. Связочные предложения с простым связочным сказуемым.

1. Предложения, в которых замена глагола «быть» полнозначным глаголом ведет за собой изменение падежной формы зависимого имени существительного.

1) Существительное в именительном падеже заменяется существительным в винительном падеже. Глагол «быть» употребляется в значении глаголов «проводить», «устраивать», «организовывать».²

Образец: Там была еще «Зарница».

Ср. Мы с ребятами проводили «Зарницу» между отрядами своими. (Средний этап).
Недавно был чемпионат.

Ср. Недавно мы провели чемпионат по баскетболу. (Старший этап).

Обычно в таких предложениях говорится о спортивных или общественных мероприятиях (собрания, вечера отдыха и т. д.).

В речи учащихся среднего школьного возраста связочных предложений, в которых глагол «быть» соответствует глаголам «проводить», «устраивать», «организовывать» было значительно больше, чем в речи учащихся старшего возрастного этапа, соответственно 215 и 82.

2) Существительное в предложном падеже заменяется существительным в винительном падеже.

Данная замена является очень активной в речи учащихся обоих возрастных этапов. Глагол «быть» употребляется преимущественно вместо глаголов движения. Сочетания глагола (как глагола «быть», так и полнозначных) с существительными в подавляющем большинстве имеют локальное значение. Имена существительные, с которыми употребляется глагол «быть», относятся к разряду имен собственных, обозначающих географические названия населенных пунктов. Глагол «быть» употребляется в значении следующих глаголов:

а) в значении глаголов «ходить» или «посещать»;

Образец: Недавно я была в театре.

Были в геологическом музее.

Ср.: Недавно мы посетили классом театр. (Средний этап).

Я был в Эрмитаже, в музеях во многих был.

Ср.: Вчера ходили в кино всем классом. (Старший этап).

б) глагол «быть» в значении глагола «ездить».

На среднем школьном этапе таких предложений 50, на старшем — 35.

Образец: Были в Михайловском.

² О том, что подобная замена возможна, говорит, на наш взгляд, тот факт, что в речи детей встречаются предложения именно с данными глаголами. В образцах здесь и далее приводятся глагольные предложения, взятые из наших записей.

- Ср.: Вот мы ездили в Михайловское. (Средний этап).
Была на Черном море.
Я уже была в Ленинграде.
- Ср.: Я ездил в Москву. (Старший этап).

3) Предложения, в которых глагол «быть» соответствует полнозначным глаголам, требующим двойного сильного управления.

В этой подгруппе наиболее частотным оказалось употребление глагола «быть» в значении глагола «дать». В таких предложениях обычно утверждается наличие какого-нибудь предмета. Иногда глагол «быть» употребляется не только в значении глагола «дать», но и в значении некоторых других полнозначных глаголов, в результате чего также изменяется падежная форма существительного (хотя двойного управления не наблюдается).

- Образец: У нас были листочки (т. е. нам дали или мы взяли).
Утром бывают макароны (т. е. дают кому что или кормят кого чем).
У нас было домашнее задание (т. е. дали кому что или получили что).
- Ср.: Нам дали такие талончики. (Средний этап).

Были у меня удостоверения (т. е. дали <
кому
что или получила что).

У нас были книжки (т. е. дали <
кому
что или получили что). (Старший этап).

В речи старших учащихся таких предложений 5, в речи учащихся среднего этапа — 7.

2. Предложения, в которых при замене глагола «быть» полнозначным глаголом падежная форма имени существительного остается без изменения.

1) Падежная форма имени существительного остается в родительном падеже. Глагол «быть» употребляется в значении следующих глаголов:

- а) «быть» в значении глаголов «ходить», «достигать»;

- Образец: До 10 кг бывает иногда улов.
До 30° было.
Сейчас бывает даже до 20°.

Подобные предложения встречались только в речи учащихся среднего школьного возраста (8 случаев).

б) глагол «быть» соответствует значениям глаголов «длиться», «продолжаться»;

Образец: «Огонек» был до 12 часов.

Танцы были до 10.

В речи учащихся среднего школьного возраста встретилось 6 подобных предложений.

2) Падежная форма имени существительного остается в дательном падеже. Глагол «быть» употребляется в значении глагола «исполниться».

Образец: Вот сестре будет 18 лет.

Моей подруге скоро будет 14 лет.

Ср.: Мне скоро исполнится 15 лет.

В речи учащихся старшего школьного возраста таких предложений насчитывается 7, в речи учащихся среднего школьного возраста — 6.

3) Падежная форма существительного остается в предложном падеже.

а) Глагол «быть» соответствует глаголу «находиться».

Образец: На берегу была моя подруга.

В лесу были воронки.

Ср.: Там находится наш отряд.

Подобные предложения употребляются учащимися обеих возрастных групп (на старшем — 42 предложения, на среднем — 50).

б) Глагол «быть» употребляется в значении глагола «учиться». В речи учащихся обеих возрастных этапов встретилось по 15 предложений.

Образец: Когда я была в I или во II классе, ...

Я тогда еще была в 9 классе.

Когда я была в III классе...

Ср.: Ну, тогда я училась еще в 5 классе.

Б. Предложения с составным и сложным связочным сказуемым.

Из связочных предложений данной группы наиболее многочисленными оказались предложения с составным связочным сказуемым, состоящим из связки и присвязочной части, выраженной причастием или прилагательным. При замене данных сказуемых глагольными наблюдается изменение падежной формы существительного в именительном падеже существительными в винительном.

Образец: Вечером были устроены танцы.

В книгах была описана жизнь. (Средний этап).

У них были завязаны глаза.

У нас была подготовлена самодеятельность. (Старший этап).

Такая форма замены очень активна в речи учащихся обеих возрастных групп. В речи учащихся среднего школьного возраста

ста подобных предложений 185, в речи учащихся старшего возраста — 250.

Таким образом, анализ употребления связочных предложений показал, что большому количеству их соответствуют синонимичные глагольные предложения. Наиболее частотны связочные предложения, которым соответствуют глагольные предложения с глаголами, обозначающими процесс проведения мероприятий, и с глаголами движения. Употребление таких предложений преобладает в речи учащихся среднего школьного возраста. В подобных предложениях происходит замена падежной формы существительного.

2. Пропуск падежной формы существительного при глаголе

В речи детей частотны неполные конструкции, в которых функционирует глагол без зависимых падежных форм существительного.

Возможность употребления таких неполных конструкций в речи объясняется действием определенных контекстных и констатирующих условий, а также структурой глагольных словосочетаний. Степень неполноты синтаксических структур в разговорной речи соответствует степени прогнозирования высказывания, которая может стимулироваться непосредственным речевым контекстом, контекстом ситуации и контекстом общего опыта участников речи.

Сочетаемость глагола представлена набором обязательных и необязательных валентностей.³ Обязательные валентности требуют своей неперенной реализации в речи, а факультативные могут оставаться нереализованными, не нарушая грамматической правильности высказывания.⁴

Следует отметить, что при пропуске падежной формы в одной фразе иногда наблюдаются случаи, когда учащиеся в следующей фразе дают ту же самую конструкцию, но уже в развернутом виде, т. е. с падежной формой имени.

А. Васильева отмечает, что эти сжатые, синтезированные формы внешней речи в большинстве случаев можно искусственно реконструировать по законам внешней речи, и это может сделать сам говорящий.⁵ об этом же говорят наши материалы

³ М. А. Кормилицына. Структура глагольных словосочетаний и их функционирование в речи. — «Вопросы теории русского языка и методики его преподавания». Саратов, 1971, вып. 4, стр. 116.

⁴ Е. И. Иванчикова. О структурной факультативности и структурной обязательности в синтаксисе. — ВЯ, 1965, № 5, стр. 87.

⁵ А. Н. Васильева. Опыт систематизации разговорного синтаксиса. — В сб. Вопросы стилистики, вып. 5. 1972, стр. 5.

Образец: Мы разместились.

Ср.: Там были воронки, и мы разместились в этих воронках.

Надо было проползти, чтобы не задеть.

Ср.: Нитка была очень низко, и под ней надо было проползти.

Как видно из образца, первая фраза каждого отрывка представляет собой сжатую форму глагольно-именной конструкции с пропуском падежной формы имени, в последующей фразе дается сочетание в развернутом виде.

Анализ пропущенных падежных форм имени дает, как нам кажется, возможность говорить о двух видах пропусков. Основной различия этих видов пропусков является употребительность.

Одни пропуски падежной формы имени при глаголе являются результатом того, что эти глаголы отличаются большой частотностью употребления, и вследствие этого падежная форма как бы закрепились за глаголами и становится ненужной.⁶

В основном пропускаются винительный или предложный падежи с предлогом «в» или «на» в значении места, дательный беспредложный в значении адресата, творительный с предлогом «с» в значении совместности и беспредложный творительный в значении орудия действия.

Эти падежные формы имени в сочетании с глаголом усвоены учащимися обеих возрастных групп, и этим объясняется примерно одинаковое количество пропусков падежных форм.

Второй тип пропусков представляют собой глаголы, требующие, как нам кажется, более сложной падежной формы имени. Эти глаголы не отличаются такой большой частотностью, их употребление ограничено. Рассмотрим оба вида пропусков.

Пропуски падежных форм, обусловленные большой частотностью употребления данных глагольно-именных конструкций.

Глаголы, при которых систематически наблюдаются пропуски падежных форм имени, представляется возможным группировать следующим образом.

1. Глаголы конкретного действия. Они обозначают процесс действия или показывают законченность этого действия, пропущенное существительное обозначает объект действия и в подавляющем большинстве стоит в винительном падеже без предлога. Обычно этот предмет назван в предыдущей реплике.

Образец: Прошу маму купить открытки.

Мама покупает. (Средний этап).

Вот если бы можно было поработать врачом, поработать учителем и еще 5—6 профессий бы перебрать, тогда бы я действительно смогла бы выбрать. (Старший этап).

⁶ М. А. Кормилицына. Указ. соч., стр. 118.

2. Глаголы движения (в подавляющем большинстве — приставочные).

Большое количество пропусков объясняется тем, что приставочные глаголы движения благодаря своему строению обладают большой степенью прогнозирования. Глагольная приставка, имея свое определенное значение, присоединившись к глаголу, сужает возможности глагола сочетаться с падежными формами имени, предопределяет появление определенных предложных или беспредложных форм имени. В процессе коммуникации контекст и конситуация способствуют конкретизации этих возможностей.

Образец: Пошел в школу. А **пришел**, мама говорит: съешь суп — откроем посылку. Я **съел**. (Средний этап).

В комнату заходили все бледные, а **выходили** улыбающиеся. (Старший этап).

Перейдем к рассмотрению второго вида пропусков.

Ко второму виду пропусков относятся, как мы уже сказали, пропуски падежных форм при глаголах с ограниченным употреблением. В силу того, что эти глаголы не отличаются такой большой частотностью, как глаголы первой группы, их падежная форма не настолько закрепились за данным глаголом. Поэтому при глаголах с ограниченным употреблением мы не можем говорить о том, что пропуски падежных форм являются результатом полного усвоения соответствующих глагольно-именных конструкций. Наоборот, ограниченное употребление глаголов позволяет предположить недостаточное усвоение зависимых падежных форм при глаголе, и вследствие этого данные падежные формы пропускаются в речи учащихся.

В наших записях встретились следующие подобные глаголы (или небольшие группы глаголов).

1. Группа глаголов, обозначающая оценку действия, совершенного субъектом. К этой группе относятся глаголы «хвалить — похвалить», «ругать — обругать»,⁷ «любить — полюбить», «критиковать», «благодарить — поблагодарить».

При данных глаголах пропускается существительное в винительном падеже с предлогом «за».

Образец: Мы пробежали хорошо.

Нас даже похвалили.

2. Глагол «участвовать» в чем.

При данном глаголе пропускается объект, который выражен существительным в предложном падеже с предлогом «в».

Образец: У нас была недавно военно-спортивная игра «Зарница».

Участвовали до восьми отрядов. (Средний этап).

3. Глагол «обрадоваться» чему.

⁷ В наших записях встретился только глагол несовершенного вида.

Образец: Гляжу — конфеты. Я так обрадовался. (Средний этап).

Мне прислали кофточку. Я так обрадовалась. (Старший этап).

О недостаточном усвоении данной конструкции на среднем возрастном этапе говорит также тот факт, что один раз данный глагол употреблен с творительным падежом имени: мы обрадовались этим.

4. Глагол «смеяться» над чем.

Образец: Они кормили друг друга сметаной.

Мы так смеялись. (Старший этап).

Данная конструкция употреблена без падежной формы на среднем этапе 6 раз, на старшем — 5 раз, с падежной формой — в речи учащихся среднего этапа — 5 раз, в речи старших учащихся — 6 раз.

Следовательно, в речи детей существует целый ряд глаголов, усвоение которых нельзя считать законченным. Это не значит, что дети не знают правил сочетаемости глагола с существительным. В подавляющем большинстве они знают это (за исключением некоторых единичных случаев: выиграть с I отрядом, проиграть со II — очевидно, под влиянием более частотного глагола: играть с кем). Анализ пропущенных падежных форм при глаголах показывает, что некоторые падежные формы не достигли полного автоматизма в употреблении, поэтому дети их пропускают в речевой практике.

3. Замена падежной формы существительного придаточным предложением

Анализ речи детей показывает, что в ней довольно частотны придаточные предложения, которые соответствуют падежной форме существительного.

Следует сразу сказать, что количество придаточных, синонимичных по смыслу падежной форме имени, преобладает в речи учащихся среднего этапа. (На среднем — 300 придаточных предложений, на старшем — 184). Наибольшее количество придаточных соответствует существительному в родительном падеже. На старшем этапе таких придаточных 56, на среднем — 136. Следующую по частотности группу составляют придаточные предложения, соответствующие по смыслу существительному в винительном падеже: на старшем — 55 случаев, на среднем — 81. Придаточных предложений, синонимичных падежной форме существительного в предложном падеже, насчитывается на старшем этапе 57, на среднем — 66. Существительные в дательном и творительном падежах, заменяются придаточными значительно реже: придаточных, соответствующих существи-

тельному в дательном падеже на старшем этапе 9, на среднем — 5; придаточных, употребленных в значении существительного в творительном падеже, соответственно — 7 и 13.

Рассмотрим более частотные группы придаточных предложений.

1. Придаточное предложение, соответствующее падежной форме имени в родительном падеже.

1) Употребление придаточных предложений, синонимичных конструкциям с родительным беспредложным.

Количество предложений, в которых употребляется придаточное предложение вместо родительного беспредложного на обоих возрастных этапах примерно одинаковое. Преобладают на обоих этапах предложения, в главной части которых заключено отрицание.

Он не знает, какие у него способности.

(т. е. не знает своих способностей). (Средний этап).

Мальчики не знают, как нас зовут.

(т. е. не знают наших имен). (Старший этап).

Предпочтение придаточных, на наш взгляд, объясняется тем, что эти придаточные изъяснительные по своей структуре очень просты. Подавляющее большинство из них строится по схеме: союз (или союзное слово), глагол и имя существительное в именительном падеже (подлежащее), в то время как зависимая от глагола конструкция состоит из нескольких компонентов: два существительных в родительном падеже или местоимение и существительное в родительном падеже и другие сочетания. Глагол оценивается как более легкая в речевом употреблении словесная единица по сравнению с отглагольным существительным.

2) Придаточное предложение, соответствующее имени в родительном падеже с предлогом «после».

Когда мы все вместе поужинаем, каждый занимается своим делом. (т. е. после ужина ...). (Старший этап)..

Потом, когда я позавтракаю, я иду ...

(т. е. после завтрака я иду ...). (Старший этап).

В этих предложениях употребляются придаточные времени вместо имени в родительном падеже с предлогом «после». Как выяснилось из анализа, такая замена особенно частотна на среднем этапе. Учащиеся среднего этапа употребили подобное придаточное времени 64 раза, старшие учащиеся только 5 раз.

3) Придаточное предложение, соответствующее существительному в родительном падеже с предлогом «во время».

Подобные придаточные предложения встретились в речи учащихся обеих возрастных групп, однако на среднем этапе их значительно больше (в речи учащихся среднего этапа насчитывается 15 таких придаточных предложений, в речи старших учащихся — 6).

Когда наблюдали за Луной, температура повысилась.

(т. е. во время наблюдения за Луной температура повысилась). (Средний этап).

Когда она рассказывала, все сидели очень тихо.

(т. е. во время ее рассказа все сидели...). (Старший этап).

Конструкции, синонимичные придаточным времени, образуются при помощи отглагольного существительного и предлога «во время». Данная конструкция оценивается, очевидно, детьми среднего этапа как более трудная в употреблении по сравнению с придаточным предложением, состоящим в большинстве случаев из союза «когда», подлежащего и сказуемого. Иногда в придаточных фигурирует детерминант, выраженный конкретным существительным, обозначающим объект действия.

Таким образом, более частотными являются придаточные, соответствующие существительному в родительном падеже без предлога и с предлогами «после» и «во время». Помимо этих придаточных в речи учащихся встречаются придаточные, синонимичные отглагольному существительному в родительном падеже с предлогами «для», «ради», «из-за», «без». На старшем этапе встретилось 6 придаточных предложений, синонимичных существительному в родительном падеже с предлогом «для», на среднем — 10; придаточных, синонимичных существительному в родительном падеже с предлогом «ради» на старшем этапе 3, на среднем — 7; придаточных, синонимичных существительному в родительном падеже с предлогом «из-за» на старшем этапе 2, на среднем — 3; придаточных, синонимичных существительному в родительном падеже с предлогом «без» — один случай на среднем этапе.

2. Придаточные предложения, соответствующие существительному в винительном падеже.

Придаточные, синонимичные по смыслу существительному в винительном падеже, стоят по частотности на втором месте. Наибольшее число придаточных (на среднем — 51, на старшем — 33) соответствует по смыслу существительному в винительном падеже без предлога. Значительно меньше случаев замен падежной формы существительного в винительном падеже с предлогами (на среднем — 30, на старшем — 22).

1) Придаточные, соответствующие падежной форме существительного в винительном падеже без предлога.

... узнала, как ее зовут, т. е. узнала ее имя (Средний этап).

... забыла, как называется, т. е. забыла название (Старший этап).

Преобладание придаточных изъяснительных в речи учащихся среднего школьного возраста объясняется, очевидно, также более простой структурой придаточных по сравнению с синонимичными им по смыслу падежными формами существительного, поскольку падежная форма обычно представляет собой сочета-

ние нескольких словоформ, зависимых одна от другой (прилагательное с существительным, существительное с существительным, местоимение с существительным и др.), каждая из которых требует определенного падежа.

2) Придаточные, соответствующие существительному в винительном падеже с предлогами «на» или «в».

Придаточные предложения, синонимичные по смыслу существительному с предлогом «на», частотны в речи обеих возрастных групп, однако преобладают данные придаточные в речи старших учащихся (на старшем этапе встретилось 21 придаточное, на среднем — 15).

Образец: Много времени уходит на то, чтобы читать книги.

(т. е. уходит на чтение книг). (Средний этап).

Я надеюсь, что количество перейдет в качество.

(т. е. надеюсь на переход количества в качество).
(Старший этап).

Придаточные, синонимичные по смыслу существительному с предлогом «в», встретились только в речи учащихся среднего этапа (15 случаев).

Образец: ... гуляю, когда хорошая погода.

(т. е. гуляю в хорошую погоду).

Когда есть свободное время, мы ходим на лыжах.

(т. е. мы ходим на лыжах в свободное время ...).

Таким образом, в непринужденной речевой ситуации дети интуитивно оценивают некоторые глагольно-именные конструкции как более трудные в употреблении по сравнению со сложно-подчиненными предложениями. Учащиеся предпочитают зависимой падежной форме существительного придаточное предложение. Эта замена вполне объяснима и понятна при сравнении структуры придаточного предложения и зависимого от глагола компонента.

Замену падежной формы придаточным предложением, в результате которой облегчается процесс моделирования высказываний, можно считать приемом компенсации умений и навыков учащихся, поскольку подобная замена преобладает, за некоторым исключением, в речи детей среднего этапа.

4. Замена сложной конструкции более стандартной

Помимо перечисленных замен в речи учащихся наблюдаются случаи употребления одной конструкции вместо другой. При этом наблюдается тенденция заменять менее частотные конструкции более частотными, более сложные по структуре менее сложными. Более сложными мы считаем такие конструкции, в которых глагол реализует свои валентности несколькими падежными формами. Замены одних конструкций другими яв-

ляются разными. При анализе наших материалов были выделены следующие замены:

1. Замена падежной формы при сохранении того же глагола.

2. Замена одного глагола другим.

Рассмотрим подробнее данные замены.

1. Замена падежной формы при сохранении того же глагола.

В речи детей встретились конструкции, в которых глагол может образовать два или несколько синонимичных по смыслу сочетания. Глагол в подобных конструкциях один и тот же. Однако он может реализовать свои валентности разными падежными формами. Такие конструкции, являясь синонимичными по смыслу, могут взаимозаменяться. Замена одной конструкции другой, на наш взгляд, говорит о предпочтении одной падежной формы другой, которое в свою очередь свидетельствует о степени усвоения глагольно-именных сочетаний.

В речи детей школьного возраста можно выделить следующие подобные замены:

- а) Конструкции, в которых существительному в творительном падеже предпочитается существительное в винительном падеже.

Образец: совмещать моду с учебой;
совмещать моду и учебу.

Более частотной конструкцией в речи учащихся является вторая. Подобные конструкции встретились только в речи старших учащихся. Для учащихся среднего школьного возраста сочетания данного глагола с существительным являются малоупотребительными вследствие сложности постановки падежных форм. Старшие учащиеся, зная возможности употребления синонимичных падежных форм, употребляют более простую, более частотную (конструкцию с винительным падежом).

- б) Конструкции, в которых существительному в творительном падеже с предлогом «за» предпочитается существительное в винительном падеже без предлога.

Образец: наблюдаю за событиями, за игрой;
наблюдаю события, игру.

В речи учащихся встретилась вторая конструкция, в которой зависимое существительное стоит в винительном падеже без предлога. Это более простая конструкция, и поэтому ее употребляют учащиеся обеих возрастных групп.

- 2а. Употребление одного глагола вместо другого (вследствие которого изменяется падежная форма зависимого имени).

Следует сразу сказать, что такая замена в большей степени свойственна речи учащихся среднего школьного возраста. Этот факт объясняется тем, что более частотные конструкции усвоены учащимися среднего школьного возраста лучше по сравнению с конструкциями, в которых глагол является менее частот-

ным или реализует свои валентности несколькими падежными формами, одна из которых является менее употребительной. Поэтому частотные глаголы употребляются вместо других глаголов. Рассмотрим несколько случаев.

Конструкции, в которых глагол «давать» выступает в значении других глаголов.

Образец: Ему дали награду: конфеты (т. е. наградили кого-л. чем-л.)

Каждый стол дал по номеру (т. е. выступил с чем-л.)

Мы давали ребятам концерт (т. е. выступили с чем-л., перед кем-л.)

26. Употребление одного глагола в значении другого, при котором падежная форма имени остается без изменения.

В речи учащихся встречаются конструкции, в которых один глагол, более простой, более частотный, употребляется вместо другого глагола. При подобной замене падежная форма зависимого имени остается без изменения. Данная замена свойственна в большей мере речи учащихся среднего школьного возраста. Как уже было сказано, в функции глагола-заменителя выступают более частотные глаголы. Приведем некоторые образцы.

В функции глагола-заменителя выступает глагол «делать»:

делать подвиги, т. е. совершать

делать газету, т. е. выпускать

сделать встречу, т. е. устроить, провести

делать фигуры, т. е. выполнять

делать выставки, т. е. устраивать, организовывать

делать костюм, т. е. шить, готовить (Средний этап).

сделать задание, т. е. выполнить

сделать фигуры, т. е. выполнить

сделать экскурсию, т. е. совершить, организовать

сделать операцию, т. е. оперировать (Старший этап).

Таким образом, учащиеся среднего школьного возраста чаще прибегают к замене одной конструкции другой, более простой или более частотной вообще в речи, некоторые глаголы («делать», «давать», «говорить», «показывать») можно считать глаголами-заменителями, которые используют учащиеся в процессе моделирования своих высказываний.

5. Замена глагольного предложения безглагольным (эллипсисом)

В современной литературе по лингвистике термин «эллиптические предложения» употребляется для обозначения разных синтаксических конструкций. Одни авторы отождествляют его с термином «неполные предложения»,⁸ другие обозначают им

⁸ А. А. Реформатский. Введение в языкознание. М., 1955, стр. 266; Г. А. Вейхман. Признаки неполноты предложения в современном языке. — «НДВШ, Филологические науки», 1962, № 4, стр. 94.

разновидность неполных предложений.⁹ Некоторые авторы относят эллиптические предложения к особому типу, спецификой «структуры которых является отсутствие глагольного сказуемого, причем сказуемого, не упомянутого в контексте».¹⁰ Мы в данной статье придерживаемся последней точки зрения, по которой эллипсисы — это безглагольные предложения, не обусловленные грамматическим окружением, контекстом или ситуацией. Компоненты, составляющие данные конструкции, показывают, что тот или иной отсутствующий компонент, необходим только структурно, в смысловом же отношении данные конструкции представляют собой полные предложения, не нуждающиеся в наличии глагола-сказуемого для передачи данного сообщения. В подобных конструкциях место сказуемого не замещено. С подлежащим непосредственно соотносятся те словоформы, которые грамматически зависят от глагола-сказуемого, не представленного в данной реализации, но обязательно принадлежащего структурной схеме предложения.¹¹

Некоторые авторы называют такую незамещенную синтаксическую позицию нулевым полнозначным глаголом-предикатом,¹² о котором сигнализируют те члены предложения, которые непосредственно соотнесены с подлежащим. Однако не все приглагольные члены могут с одинаковой степенью предсказывать нулевой глагол-предикат. Сила предсказания зависит от свойства глагола.¹³ Только наиболее сильные приглагольные члены обладают способностью сигнализировать о нулевом глаголе-предикате определенной семантики. К ним относятся члены, которые по своим лексико-семантическим связям являются наиболее типичными для определенной семантической группы глаголов.¹⁴

В лингвистической литературе дается несколько классификаций подобных безглагольных предложений.¹⁵

⁹ И. А. Попова. Неполные предложения в совершенном русском языке. — Труды ин-та языкознания АН СССР, т. II. М., 1953, стр. 55; также Современный русский язык, ч. II. М., 1964, стр. 445.

¹⁰ Современный русский язык. М., 1966, стр. 373; также П. А. Лекант. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М., 1974, стр. 142 и сл.

¹¹ Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, стр. 559.

¹² Русская разговорная речь. М., 1973, стр. 291.

¹³ Ю. Д. Апресян. О сильном и слабом управлении (опыт количественного анализа). ВЯ, 1964, № 3.

¹⁴ Д. Н. Шмелева. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964, стр. 202.

¹⁵ В «Грамматике современного русского литературного языка» (М., 1970) рассматриваются следующие типы конститутивно не обусловленных бессказуемых реализаций двусоставных структурных схем:

1) предложения с отсутствующим сказуемым — глаголом словесного акта, речи; 2) предложения с отсутствующим сказуемым — глаголом движения; 3) предложения с отсутствующим сказуемым — глаголом предоставления

П. А. Лекант (Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М., 1974) дает четыре типа предложений: 1) предложения со значением движения, перемещения; 2) предложения со значением речи — мысли; 3) предложения со значением «бить» и «ударять»; 4) предложения со значением «братся», «хватать(ся)» (стр. 144).

В речи детей школьного возраста встретились следующие эллипсисы:

1. Предложения со значением движения.
2. Предложения со значением речи.
3. Предложения со значением начала действия.
4. Предложения со значением положительного или отрицательного отношения.

5. Предложения со значением места обучения.

Рассмотрим данные конструкции.

1. Предложения со значением движения.

Конструкции состоят из следующих обязательных компонентов.

В качестве субъекта выступает имя существительное или личное местоимение, с которым непосредственно соотносится объект (существительное в косвенном падеже, обозначающее направление, конечный пункт или цель движения). Чаще всего в качестве словоформы в косвенном падеже выступают:

а) существительное в винительном падеже с предлогом «в», обозначающее направление движения или его конечный пункт. Образец: Потом мы прямо на линейку. (Средний этап).

После вечеров девочки в одну сторону, мальчики в другую. (Старший этап).

б) имя существительное в родительном падеже с предлогом «с», показывающее исходный пункт движения, и имя существительное в винительном падеже с предлогом «в», обозначающее конечный пункт движения.

Образец: С линейки мы прямо в столовую. Завтракаем. (Средний этап).

В подобных конструкциях, кроме структурно необходимых членов, могут быть слова, обозначающие время или образ действия (наречие времени или образа действия).

Подобные конструкции преобладают в речи учащихся старшего возрастного этапа (25 случаев в речи старших учащихся и 6 в речи учащихся среднего этапа).

2. Предложения со значением речи.

Состав конструкции следующий. В качестве субъекта выступает имя существительное или местоимение в именительном па-

ния, давания; 4) предложения с отсутствующим сказуемым — глаголом наличия, появления, обнаружения; 5) предложения с отсутствующим сказуемым — фазовым глаголом (стр. 559—560).

деже. С ним непосредственно соотносится имя существительное в косвенном падеже, обозначающее объект речи.

Объект речи может быть выражен именем существительным в предложном падеже с предлогом «о» (обо) или существительным в винительном падеже с предлогом «про».

Образец: Я вот про фильм. (Средний этап).

Ну, теперь о свободном времени. (Старший этап).

Всего таких бескаузальных конструкций, которым соответствуют параллельные формы с глаголами речи, встретилось в речи учащихся старшего этапа больше, чем в речи учащихся среднего этапа (соответственно 40 и 16 случаев).

3. Предложения со значением начала действия.

Безглагольные предложения с данным значением можно разделить на два подтипа:

1) предложения, которым соответствуют глагольные предложения с глаголами «начинаться», «наступать».

Для этих предложений высокочастотен обратный порядок расположения компонентов — с вынесением в начальную позицию адвербиального компонента, который представлен сочетанием имени существительного с предлогом. Большей частью в роли адвербиального компонента выступает существительное в родительном падеже с предлогом «после», иногда может быть существительное в винительном падеже с предлогом «в» или только наречие времени — «потом». С данными компонентами соотносится субъект предложения, который выражен существительным в именительном падеже.

Образцы: После тихого часа — полдник.

После завтрака — уборка территории.

Подобные конструкции очень частотны в речи учащихся среднего этапа, в речи старших учащихся таких конструкций почти нет (количество подобных случаев соответственно 27 и 2).

2) Предложения, которым соответствуют глагольные предложения с глаголами «приниматься» за что или «садиться» за что (в значении начать заниматься).

В качестве субъекта выступает личное местоимение в именительном падеже, с ним соотносено существительное в винительном падеже с предлогом «за».

Образец: ... покушаю и сразу за уроки.

Ну, после обеда я сразу же за музыку.

Кроме названных компонентов, в данных конструкциях имеются слова, показывающие время совершения действия (наречие и существительное в родительном падеже с предлогом «после»). Подобные предложения обнаружены в речи учащихся старшего возраста (4 случая).

4. Предложения со значением положительного или отрицательного отношения.

Состав конструкции следующий. Субъект выражен существительным или личным местоимением в именительном падеже, объ-

ект — существительным в винительном падеже с предлогом «за».

Образец: Я за косметику.

В таком возрасте все за моду.

В некоторых конструкциях объект может быть выражен также другой падежной формой существительного — существительным в родительном падеже с предлогом «против»,

Образец: Я против косметики.

Многие ребята против таких вечеров.

Косвенный падеж второго компонента предложения зависит от того, утверждается или отрицается явление, выраженное в предложении.

Данные конструкции обнаружены в речи учащихся старшего возраста (14 случаев), в речи учащихся среднего возраста — только 2 случая.

5. Предложения со значением места обучения.

Компоненты конструкции могут быть выражены следующим образом. В качестве субъекта выступают личные местоимения в именительном падеже, второй компонент состоит из сочетания числительного с именем существительным в предложном падеже с предлогом «в», обозначающим место занятия (в наших записях класс, в котором учатся).

Образец: Мы уже в 9 классе.

Я уже в 10 классе.

Эти предложения также из речи учащихся старшего возраста.

Таким образом, в речи учащихся обеих возрастных групп встречаются безглагольные конструкции. Сопоставительный анализ показал, что данные конструкции преобладают в речи учащихся старшего школьного возраста и представлены более разнообразно. В речи учащихся старшего этапа эллиптических предложений насчитывается 93, в речи учащихся среднего возраста — 66.

Исходя из сопоставительного анализа безглагольных конструкций, на наш взгляд, можно сделать предположение, что пропуск глагола в подобных сочетаниях является своего рода сигналом степени усвоения этих глагольных конструкций, поскольку в них имеются налицо члены, непосредственно соотнесенные с подлежащим и предсказывающие нулевой глагол-предикат. Механическое конструирование таких сочетаний в непосредственной речевой ситуации с учетом возможности-невозможности употребления их безглагольных схем и насыщение последних определенными падежными формами требует, очевидно, некоторой речевой практики, которая, несомненно, больше у детей старшего возраста.

Таким образом, анализ речи детей свидетельствует о том,

что в ней функционирует целый ряд замен одних синонимичных конструкций другими. Дети владеют конструкциями как речевыми единицами в разной степени совершенства. Одни конструкции оцениваются детьми интуитивно как более трудные в речевом употреблении и заменяются другими, более легкими. Анализ показал, что конструкции, которые употребляются вместо других, являются более частотными, более простыми в употреблении. Такие конструкции можно условно назвать рабочими речевыми средствами, при помощи которых можно выразить любую мысль, вступить в любое речевое взаимодействие. Эти конструкции являются как бы основой речетворчества.

Замена одних конструкций другими обеспечивает ученику при ограниченном языковом репертуаре свободу речевого поведения.

Сопоставительный анализ речи детей показал, что подобная замена преобладает в речи учащихся среднего школьного возраста. Поэтому замену одних конструкций другими можно считать приемом компенсации умений и навыков учащихся.

ОБ ОФОРМЛЕНИИ РОДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКИХ ГОВОРАХ ЭСТОНСКОЙ ССР

В. В. Мюркхейн

1. В означенных говорах¹ большинство имен существительных распределяется по трем родовым классам на основании тех же формальных признаков, что и в русском литературном языке. Однако отдельные группы существительных проявляют известную неустойчивость и расхождения в оформлении грамматического рода по сравнению с нормированным языком.

Отход от присущей литературному языку родовой принадлежности осуществляется в трех основных направлениях. Во-первых, имена существительные среднего рода по формам словоизменения и синтаксической связи совпадают с существительными женского или мужского рода. Во-вторых, противопоставление имен существительных мужского и женского рода нейтрализуется либо в формах женского, либо в формах мужского рода. Эта нейтрализация происходит большей частью в форме именительного или винительного падежа, однако известны случаи перестройки всей парадигмы в целом. В-третьих, при женских именах собственных, а также существительных или личных местоимениях, обозначающих лиц женского пола, возможна постановка синтаксически зависимых единиц² в форме мужского рода. Согласование по роду может отсутствовать и при именах, обозначающих лиц мужского пола.

В настоящей статье мы рассмотрим каждое из этих направлений и постараемся выявить лексико-грамматические свойства имен существительных, допускающих отклонения от современной нормы в оформлении родовой отнесенности.

2.1. В лингвистической науке широко известно мнение, что ситуация аканья, в частности совпадение в произношении без-

¹ В нашей работе мы используем материал деревень Мехикоорма, Мерапалу, Выпсу и Ййзаку (северо- и юго-восточная часть Эстонской ССР).

² К синтаксически зависимым единицам мы относим имена прилагательные, неличные местоимения и глаголы в формах прошедшего времени и конъюктива.

ударных окончаний имен среднего и женского рода в варианте (ъ) или (а), является базой для сближения среднего рода с женским (15, 49—50; 4,91; 7,59—60). Наш материал полностью подтверждает это положение. Вокализм исследуемых говоров характеризуется недиссимилятивным аканьем и сильным яканьем (13,10; 22,9—10).

Анализ фактов неразличения среднего и женского рода показывает их неоднородность и позволяет выделить три последовательных этапа в процессе перехода среднего рода в женский. Кажется неправомерным считать начальным этапом совпадение в произношении безударных окончаний имен среднего и женского рода (7,59). Это явление известно всем аканьющим, многим переходным говорам и литературному языку, однако оно не везде вызывает трансформацию среднего рода. На наш взгляд, начальным этапом следует считать случаи употребления согласуемых единиц в женском роде при существительных среднего рода с ненаконечным ударением. Например: *сѣна сухая, моя дѣла маленькая, тая мѣста глинная, гаданья была такая, лета гарас плахая, тая помещенья теплая, другая холодная, поля ржаная, тогда эта братанья началась, направленья была сюда, здоровья худая, пришла время, плохое время, больша судна.*¹

Для второго этапа характерна постановка согласуемых единиц в женском роде при существительных среднего рода с наконечным ударением. Эти факты свидетельствуют о том, что формальный признак среднего рода становится фиктивным. Ср. — *максѣ, печень, в наліма большая; вся перѣ с подушки выпущена, моя молоко была жирная, тая окно пусть открыта.*

На первых двух этапах существительные среднего рода сохраняют присущую им парадигму склонения. Однако новые синтаксические отношения создают предпосылки для более глубоких структурных преобразований в классе слов среднего рода, что и происходит на третьем этапе.

Третий этап знаменует собой появление в косвенных падежах имен среднего рода форм, типичных для парадигмы женского склонения с основой на -а. Например: *возьми тую белью, положат на горячую железу, оружьё в лес поставили, исполнили под эту провождёнию, она способию получала, судну нагрузили, в другую мѣсту, перевели на вторую отделёнию, зерну собрали, пойдём на игрищу, тому жениху одеялу подарила, купил мне кольцо венчальную, на кладбищу ходила, сын в ей приехал с училищи, подберутся к горли, забита железой.* Можно наблюдать случаи колебания в оформлении родовой принадлежности не только в разных падежных формах одного слова, но

¹ В примерах конечные безударные гласные неверхнего подъема мы обозначаем через а, так как в этой позиции они реализуются в звуке минимальной редукции, близком к (а).

и в одной, ср.: *зимой на игрище ходили — пойдём на игрищу* (игрище «молодежный вечер с танцами и играми» — В. М.); *хочу купить кольцо с глазком «с камнем» — купил мне кольцо*.

Частичное совпадение парадигм склонения имен среднего и женского рода более всего зафиксировано в форме винительного падежа. Не обнаружено ни одного случая полной замены парадигмы склонения имен среднего рода парадигмой женского склонения на -а. Аналогичное положение отмечается и в других русских говорах (2,83; 23,152), в том числе и на территории Литовской ССР (19,65).

Наличие последовательных ступеней, характерных для единого синхронного среза (у нас нет материала для сопоставления этого явления в прошлом), говорит о том, что поглощение среднего рода женским является процессом живым, хотя и не очень интенсивным.

2.2. Неразличению имен среднего и женского рода сопутствуют случаи совпадения среднего рода с мужским. Эти случаи более редки и неоднородны по своему происхождению. Например, слово *крыльцо* и *яблоко*, исторически менявшие родовую принадлежность, образуют формы словоизменения как по новой, так и по старой парадигме (мужского рода). Ср.: *новый крылец обещал сделать, вынеси на крылец, оставила на крылец — поставь на крыльцо, куряты опять на крыльцо забравши*. Варианты *крылец* и *крыльцо* семантически не различаются. Старая форма *крылец* сохраняется в русских говорах Латвии и Литвы (10, 13; 19, 66—67). Варианты *яблок* и *яблоко* отмечены в таких случаях: *возьми другой яблок, тот яблок покислел — одно яблоко под стол закативши*.

Родовые различия слов *ушко* и *ушок* связаны с различием в их семантике: *ушко* у человека и других живых существ, *ушок* — проем в чем-нибудь, петля. Например: *в изголовье этой ушок широкий, потяни за ушок-то и вытащишь — смотри, как ушко-то у него покраснело*. Слово *ушок* в значении «петля» известно в говорах Пермской области (21, 659).

Значительно чаще сближение среднего рода с мужским выражается синтаксически — употреблением зависимых единиц в мужском роде: *здесь побойще был ледяной, сообщенье должен быть, дно у гроба пролетел «провалилось», население в нас смешанный, этот кино, мой пальто, сено-то не дюже сухой, жалованье маленький*.

Неразличение родовой принадлежности имен среднего и мужского рода имеет в науке как фонетическое (15, 52—53; 12, 64—66), так и морфологическое объяснение (2, 89—91; 23, 156). Ряд исследователей решающим или стимулирующим фактором считают влияние языков, не знающих категории рода (4,95; 6,132; 8,5; 17,100).

Для наших говоров фонетическое объяснение данного явления кажется сомнительным, т. к. редукция конечных заударных

гласных минимальна и утрата их практически невозможна (13,12). Представляется более убедительной морфологическая концепция, т. к. говорам присуща близость парадигм склонения имен существительных, прилагательных и неличных местоимений. Немаловажную роль играет и тесное контактирование с эстонским языком, который не располагает категорией рода.

2.3. Оформление имен среднего рода по образцам женского и мужского нельзя считать явлением регулярным, т. к. колебания наблюдаются в речи одних и тех же лиц. Значительная часть существительных среднего рода имеет одно грамматическое значение рода, например: *весло́, село́, небо́, горе́, поле́, море́, озеро́, солнце́, вязанье́* и др. Помимо того, некоторым именам женского рода (в нормированном языке) присущи грамматические признаки среднего рода. Например, *икра́, метло́, фами́лья́: тако́ икра́ со́лить годится́, возьми́ то́е метло́ да попуга́й их, друго́ фами́лья́ взя́л*. В среднем роде употребляется заимствованное из прибалтийско-финских языков слово *максó* (рыбья печень) (14,6). Ср. фин. *maksa* (печень), эст. *maks* того же значения. Слово *ма́кса* известно в севернорусских говорах (24,224). Форма *максó* отмечена еще в прошлом веке В. Далем как псковская (5, II-291). Мы не имеем сведений о времени заимствования этого слова и затрудняемся объяснить, почему оно имеет формальный признак среднего рода. Это тем более интересно, т. к. анализ литовских заимствований в русских говорах Литвы показал, что все они оформляются по женскому или мужскому роду. Автор исследования объясняет это отсутствием среднего рода в литовском языке (20, 142—143).

В заключение по среднему роду необходимо сказать следующее. В исследуемых говорах действует общая для всего русского языка тенденция сужения класса имен среднего рода. Если в литературном языке наблюдается рост абстрактной лексики, оформляющейся частично и по среднему роду (1, 63, 75), то в говорах, как известно, удельный вес абстрактной лексики в словаре незначителен. Тем не менее мы не имеем достаточных оснований говорить о разрушении категории среднего рода, вызванного условиями аканья и иноязычного окружения. На фоне общего ослабления категории среднего рода в диалектном языке наши говоры не занимают крайнего положения.

3.1. Для второго направления характерно ослабление оппозиции по роду в классах имен существительных женского и мужского рода.

С одной стороны, имена существительные, принадлежащие к мужскому роду в нормированном языке, в наших говорах проявляют частично или полностью грамматические свойства женского рода.

При частичной замене совпадение имен мужского рода с женским происходит в отдельных падежных формах. Например: *избы́тка вы́шла, пострóбили санато́рию в лес, жи́тная со́лома*

остаётся от ячменёй, сенокоса была на ту сторону, наша кли́ма ему́ не годится, кака́я фильма́ придётся — такую́ и смо́трим, та́ка хоро́ша ка́мина сде́лана, та́за в тебѣ́ где?, ли́тру во́дки дава́ли, в него́ но́вая мото́ра ку́плена, в ней така́я голу́бая ша́рфа. В ряде случаев показателем рода служат определения (прилагательные или местоимения) или сказуемое-глагол в форме прошедшего времени: *тепе́рь фабрика́ ту́ю за́пас даёт*, *тем кончи́лась сего́дняшний де́нь*, *сего́дня пойма́ли ежа́* — *ма́ленькая*, *ма́ленькая*, *гвоздь по́пала*, *ячме́нь была́ посе́яна*.

В словах *мото́р* и *мото́ра* родовое различие связано с семантическим: *мото́р* — известный механизм на лодке, *мото́ра* — лодка с мотором. Но это противопоставление не всегда выдерживается: *мото́ра* употребляется и в значении *мото́р*. Ср.: *снял с ло́дки мото́ру*, *мото́ра что-то пло́хо рабо́тает*.

Слова *сту́ла* и *плу́га* регулярно образуют формы по парадигме женского рода: *но́вая сту́ла*, *хо́че залéзть на сту́лу*, *подо́двинь его́ вме́сте со сту́лой*, *но́жка ю́т сту́лы*; *е́сли большо́я плу́га*, *так два ко́ня впряга́ли*, *впе́ред плу́ги* (перед пругом), *я за плу́гой не ходи́вши* и т. д.

Словоформа *сту́ло* широко известна в русских народных говорах (5, IV 348), в том числе в соседних псковских¹ и прибалтийских (9, 317; 10, 25). Вариант *сту́ла*, как наиболее часто употребляющийся по сравнению с формой *стул*, отмечен в русских говорах Литвы (19, 69). Ареал словоформы *плу́га* охватывает все русские говоры Прибалтики (9, 220; 10, 20; 19, 69). Происхождение форм *сту́ла* и *плу́га* не ясно. Однако наличие полной парадигмы женского склонения говорит об известной давности перехода этих слов в женский род.

Преимущественно по женскому склонению изменяется слово *ли́тра*, ср.: *две ли́тры*, *взя́ли по пол-ли́тры*, *ли́тру во́дки дава́ли*, *с пол-ли́трой*.

Вероятно, по аналогии со словосочетанием *трѣицу́ пра́здновали* возникло выражение *покро́ву пра́здновали* (Им. пад. ед. ч. *покро́в де́нь* — В. М.).

Заимствования из эстонского языка оформляются по женскому роду в соответствии с формальным признаком заимствуемого слова (*кли́ма* 'климат' < эст. *kliima*) или в зависимости от смысловых связей и аналогии. Например: *ла́та* 'жердь, длинный шест' < эст. *latt* 'жердь'; *ка́ра* 'ручная тележка, тачка' < эст. *kärg* то же; *тре́нка* 'лестница на крыльце, ступеньки' < эст. *tõrr* 'лестница, ступеньки'. Ср. факты: *взя́л ла́ту и поше́л на о́зеро*, *в ме́ня но́вая ка́ра ку́плена*, *ры́бу в ка́ру по́ложишь*, *по́ложь ключ под тре́пку*.

3.2. Нейтрализация противопоставления имен женского и мужского рода в формах мужского выражается также разными способами. Во-первых, путем нарушения синтаксической связи:

¹ Данные взяты из картотеки Псковского областного словаря.

зависимые единицы в форме мужского рода употребляются при существительных женского рода. Например: *этот война неше-ходная была, должен быть кукушка* (головка льна — В. М.) *готовая, теперь того катёхи нету* (катёха — средство обработки сетей — В. М.), *погода худая был, в нас рожь хорошо зрел, в меня длинный уваль 'вуаль' был, страшный грязь, полный мудель в музей сделали, один свинья, такой большой свинья, в этом мйзе, на каждой сетке должен быть бирка, оттепель в марте был, сирень тут был посажен, тот сирень вырыт, в этом деревне.*

Во-вторых, оппозиция женский/мужской род нейтрализуется в отдельных падежных формах мужского рода. Ср.: *молодёжу всё очень просто было, молодёжь собрался, голым голоём, во время уборки, пришёл с работа, сито сделано из проволока, выймут из пробуба, много скотина, с новым паным, вошы так и плывут кучом, сверчок за печом.*

Целый ряд существительных проявляет неустойчивость в родовой принадлежности, выступая то в формах мужского, то в формах женского рода. Например: *пришёл с работа — от работы руки боля; в войлоку гвоздь была — ржавый гвоздь; рыбий глев 'рыбья чешуя; слизь, покрывающая рыбу', от рыбьего глева руки склизкие — рыбья глев, рыбью-то глев не знаешь?* В «Материалах для словаря русских старожольческих говоров Прибалтики» приводится как характерная для территории Эстонии словоформа *глевь* с пометой жен. рода и со значением «рыбья чешуя». Примеры с этим словом отражают твердый губной согласный в исходе основы (9, 66). Наш материал обнаруживает следующую закономерность: формы с мягким губным в исходе основы принадлежат к женскому роду, с твердым — к мужскому. Отверждение конечных губных согласных — живой процесс в русских говорах Эстонии (13, 15; 22, 12). Можно предположить, что колебания в родовой принадлежности слова *глев/глевь* связаны с фонетическим изменением конца слова. Появление твердого согласного в конце основы способствует втягиванию слова в класс имен мужского рода. В мужском роде это слово зафиксировано в словаре В. Даля (5, I-355). Видимо, этим же объясняется появление форм мужского рода в словах *прорубь, кровь*.

Причины, вызывающие отклонения в оформлении родовой принадлежности в разных словах могут быть различны. В таких словах, как *вуаль, санаторий* отражаются старые колебания по родовой отнесенности.

Согласование по мужскому роду при слове *мйза* возможно связано с тем, что носители говора употребляют в своей речи два варианта этого слова: адаптированное заимствование из эстонского языка *мйза* и неосвоенное грамматически, оригинальное *мыйз* (ср. эст. *mõis*). Последнее, естественно, воспри-

нимается как слово мужского рода. Два плана выражения создают основу для колебаний в оформлении по роду. То же самое можно наблюдать и в других заимствованиях, например, в названии рыбы *вѣмба* и *вим* из эст. *vimb* 'рыбец'.

Новое заимствование *инвентѹр* 'инвентаризация' воспринимается как слово муж. рода по формальному признаку: *в магазѣне инвентѹр на прошѣющей недѣлѣ проходѣл.*

Форма с *нѣвым пѣпом* по всей вероятности вызвана смысловым соотношением по роду.

Колебания в родовой характеристике таких слов как *оттепель*, *сирень*, *рожь*, *печь*, *звездь*, *путь*, *ячень* и др. можно объяснить их бывшей принадлежностью к склонению с основой на **ѣ*, куда входили как слова женского, так и мужского рода (3, 265; 18, 125). Расхождения в слове *постѹпок* — *постѹпка* может зависеть от наличия древнего суффикса *-ѣк-*, присущего словам мужского и женского рода (18, 125).

Наконец, немалую роль при замене форм мужского рода формами женского и наоборот играет влияние русского говорения эстонцев, для которых отнесение русских слов к тому или иному роду представляет значительную трудность. (В исследуемой нами местности русские и эстонцы живут бок о бок в границах одной деревни, нередко образуя смешанные русско-эстонские семьи).

4. Кроме того, русское население в большинстве своем двуязычно. Эстонским языком нередко пользуются и в кругу семьи. В этой ситуации спорадически возникают замены женского рода мужским и мужского женским при именах собственных, существительных и местоимениях, обозначающих лиц. Например: *нѣша Кѣлька*, *Кларѣса выѣшел на крылѣц*, *я Эстеру* (эст. женское имя собств. *Эстер* — В. М.) *дѣла*, *дочкѣ приѣхал*, *хочѣ к дочкѣ*, *идѣ к племѣнницѣ*, *сын привелѣ рѣмы*, *она должѣн одевѣться*, *я* (относится к старушке — В. М.) *должѣн им всѣ распѣтывать*, *я самѣ ходѣл с ей в пѣлих* и др.

Таким образом, в условиях относительно слабого влияния нормированного русского языка попеременное пользование двумя языками вызывает отклонения при оформлении родовой принадлежности в кругу слов, отнесение которых к мужскому или женскому роду обусловлено представлениями об естественном поле.

5. Материал показывает, что имена существительные, проявляющие колебания в родовой характеристике, можно сгруппировать по присущим им фонетическим и лексико-грамматическим качествам. Мы выделяем несколько таких групп.

1) Имена существительные среднего рода в большинстве своем с ненаконечным ударением и в меньшей мере — с ударением на окончании.

2) Существительные среднего рода с суффиксом *-ѣе* (6е). Как правило, это заимствования из литературного языка, фоне-

тически и грамматически еще не вполне освоенные в диалекте (*направлѣние, посѣбие, зрѣние*).

3) Имена мужского и среднего рода, заимствованные из литературного языка (*мотѳр, литр, фильм, пальтѳ*).

4) Существительные женского и мужского рода с основой на мягкий или отвердевший согласный (*гвоздь, печь, молодѣжь, глев*).

5) Имена существительные, сохраняющие старую родовую принадлежность (*санаторія, вуаль, яблѳк, крылѣц, полотѣнец*).

6) Заимствования из эстонского языка, освоенные в родовом отношении по формальным или смысловым качествам (*мыза, клима, инвентѳр*) или параллельно употребляющиеся с исконными русскими словами (*кѳрвик — корзина, максѳ — пѣчень*).

В заключение следует сказать, что рассмотренное явление в русских говорах Эстонии отличается сложным характером. Это обусловлено рядом причин: говоры занимают крайнее положение, сложились на неоднородной генетической основе и развивались в условиях контактирования с неродственной системой эстонского языка.

Родовая характеристика имен существительных в целом ряде случаев не совпадает с нормированным языком. Это выражается в нарушении синтаксической связи между зависимыми членами предложения, нейтрализации родовой оппозиции в отдельных формах (средний/женский, средний/мужской и мужской/женский) и в расхождении родовой принадлежности отдельных лексем с аналогичными лексемами литературного языка и других русских говоров (*стѳла, плѳга, икрѳ, крылѣц* и др.). Таким образом, отклонение от нормы русского языка в оформлении родовой принадлежности касается всех трех родовых классов.

Материал обнаруживает, что в исследуемых говорах (несмотря на их крайнее или островное положение) действуют тенденции, характерные для русского языка в целом, — это сужение класса имен среднего рода. Общая картина и некоторые конкретные факты в смещении родовой оформленности сближают наши говоры с отдельными крайними русскими говорами Прибалтики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В. В. Русский язык. 2-е изд. М., 1972.
2. Высоцкий С. С. Утрата среднего рода в говорах к западу от Москвы. Доклады и сообщения Института русского языка АН СССР, в. I. М.—Л., 1948.
3. Гаспаров Б. М., Сигалов П. С. Сравнительная грамматика славянских языков, II. Тарту, 1974.
4. Гринкова Н. П. Средний род в русских диалектах. — Уч. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Кафедра русского языка, т. 59, 1949.

5. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка, тт. I—IV. М., 1956.
6. Емельченко И. Р. Категория рода в уральском степном говоре. — Уч. зап. Гурьевского гос. пед. ин-та, в. 1А. Гурьев, 1958.
7. Котков С. И. К изучению орловских говоров. — Уч. зап. Орловского гос. пед. ин-та, т. VII, в. 3. Орел, 1952.
8. Малеча Н. М. Фонетический строй территориального диалекта уральских казаков. Автореферат канд. дисс., Уральск, 1954.
9. Немченко В. Н., Синица А. И. Мурникова Т. Ф. Материалы для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики. — Уч. зап. Латвийского гос. ун-та им. П. Стучки, т. 51. Рига, 1963.
10. Материалы для словаря русских говоров Латвийской ССР, 2, изд. Латвийского гос. ун-та им. П. Стучки. Рига, 1971.
11. Михайлова Л. П., Мухина Е. А. О некоторой особенности русской речи вепсов. — Тезисы докладов и сообщений совещания по общим вопросам диалектологии и истории языка. М., 1973.
12. Мосиенко В. Т. Переход имен существительных среднего рода в мужской род в говорах южного Урала. — Тезисы докладов на X диалектологическом совещании, М., 1965.
13. Мюркхейн В. В. Фонетико-фонологическое и морфологическое описание русского старожильческого говора Мехикоорма Эстонской ССР. Автореферат канд. дисс. М., 1971.
14. Мюркхейн В. В. Эстонские лексические заимствования в одном из русских говоров Эстонской ССР, СФУ, 1973, № 1.
15. Обнорский С. П. Именное склонение в современном русском языке, в. 1, изд. АН СССР, Л., 1927.
16. Рогожникова Р. П. Варианты слов в русском языке, М., 1966.
17. Русская диалектология под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой, М., «Наука», 1965.
18. Русская диалектология под ред. Н. А. Мещерского. М., «Высшая школа». 1972.
19. Сивичкене М. К. Об особенностях родового оформления имен существительных в русских говорах Литовской ССР. — Труды Прибалтийской диалектологической конференции 1968 г., Тарту, 1970.
20. Сивичкене М. К. Родовое оформление литовских лексем в русских говорах Литвы. — Диалектологический сборник, Вильнюс, 1974.
21. Словарь говоров Соликамского района Пермской области, изд. Пермского гос. пед. ин-та, Пермь, 1973.
22. Хейтер Х. И. Фонетика и морфология островного русского говора Ийзаку на территории ЭССР. Автореферат канд. дисс., Тарту, 1970.
23. Чагишева В. И. К вопросу о категории среднего рода в местных говорах. Псковские говоры II. — Труды второй псковской диалектологической конференции 1964 г., Псков, 1968.
24. Федоров А. И. Освоение заимствованных слов в северно-русских говорах. Диалектная лексика, 1969, Л., «Наука», 1971.

ИСТОРИЯ РУССКИХ ПЕРДУРАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ

П. С. Сигалов

1. Глаголы пердуративного способа действия (типа *просидеть, проговорить* весь день) регулярно выделяются среди семантических разрядов славянского глагола, ср. классификации Ю. С. Маслова¹, А. В. Бондарко (он говорит о длительно-ограничительных глаголах)², В. Бека³, М. А. Шелякина⁴. А. В. Исаченко считает этот глагольный разряд разновидностью результивативного способа действия⁵. Многие авторы относят к пердуративному разряду и небольшую группу глаголов с приставкой *пере-* типа *переночевать, перезимовать*, М. А. Шелякин включает сюда глаголы с приставкой *от-* типа *отобедать*. «Грамматика современного русского языка» объединяет делимитативный и пердуративный способы действия в разряд ограничительных глаголов, относя сюда глаголы с приставками *про-*, *пере-* и *по-*, которые вносят значение временного или количественного предела⁶. В этой работе будут рассмотрены, главным образом, пердуративные глаголы с приставкой *про-*, попутно привлекаются и образования с *пере-*, так как обе приставки имеют много общего и в своем происхождении и в семантической эволюции. Глаголы с приставкой *от-* рассматриваются нами в ряду финитивных глаголов.

Словообразовательной базой глаголов пердуративного способа действия являются неопределенные глаголы, т. е. тот же разряд, от которого образуются делимитативные глаголы. Теорети-

¹ Ю. С. Маслов. Система основных понятий и терминов славянской аспектологии. — Вопросы общего языкознания. Л., изд. ЛГУ, 1965, стр. 75.

² А. В. Бондарко, Л. Л. Буланин. Русский глагол. Л., 1967, стр. 16.

³ Wolfgang Bock, Die Aktionsarten des russischen Verbs, «Russischunterricht», 1956, Heft 7/8.

⁴ М. А. Шелякин. Приставочные способы глагольного действия и категория вида в современном русском литературном языке. Докт. диссертация, машинопись. Воронеж, 1972, стр. 326 сл.

⁵ А. В. Исаченко. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким, ч. II. Братислава, 1960, стр. 243—244. A. V. Isačenko, Die russische Sprache der Gegenwart, Teil I, Halle (Saale), 1962, стр. 394.

⁶ М., 1970, стр. 347.

чески от каждого непредельного глагола возможны делимитативный и пердуративный дериваты, но различное положение этих глаголов в ряду образований с приставками *по-* и *про-* — имеется в виду локальное употребление приставок — обуславливает нередкое узуальное ограничение пердуративного образования. И пердуративные и делимитативные глаголы обозначают временное ограничение действия, обозначенного исходным глаголом. Различие между ними заключается в том, что делимитативный глагол обычно обозначает действие неопределенное и недлительное, пердуративный же — действие определенное и длительное, ср. *посидеть немного, недолго, полчаса — просидеть весь день, всю жизнь, прожить неделю (в гостях) — прожить всю жизнь (в одном городе)*. Но длительность/недлительность не обязательно должна быть объективной, использование глагола может быть обусловлено субъективным отношением, ср. *постоял всего час и купил — простоял целый час и не купил*.

Задача настоящей работы — выяснить, как и когда оформился пердуративный способ действия. Для этого необходимо определить место пердуративного словообразовательного типа среди других типов с приставкой *про-*, а также рассмотреть отношение этого способа действия к другим временным способам действия в истории русского языка, имеются в виду, во-первых, делимитативные глаголы, во-вторых, пердуративные глаголы с приставкой *пере-*.

Выяснение истории словообразовательного разряда включает изучение условий и времени его появления. Но удовлетворительное решение этих задач затрудняется двумя препятствиями. Это, во-первых, трудности разграничения фактов, унаследованных из предшествующего состояния, и фактов, являющихся результатом независимого, параллельного развития родственных языков, унаследовавших из прасостояния не только тождественные материальные ценности, но и сходные импульсы. Необходимо установить, является ли пердуративный способ действия праславянским наследием, или же он возник на почве отдельных славянских языков. Для этого необходимо изучение истории его формирования в отдельных славянских языках, при этом важно установить, какой этап формирования данного разряда — если он зафиксирован — засвидетельствован в ранней истории языка: начальный или продвинутый. При этом возникает вторая трудность: религиозная специфика произведений раннего исторического периода могла сдерживать употребление слов некоторых разрядов, иные разряды слов могли появиться как результат старославянского влияния. Отмеченные трудности особенно действенны при изучении глагольного девербативного образования. Этим, возможно, объясняется наименьшая разработанность истории способов действия в славянском историческом словообразовании. Затрудняет исследование и широкая омонимия словообразовательных типов при отглагольном словообразовании,

причем и на современном материале и при историческом подходе перебросить мостики между типами, что могло бы помочь установить направление семантической эволюции словообразовательного типа, оказывается не всегда возможным.

2. В современном русском языке приставке *про-* соответствует предлог *про*, который, однако, не выступает ни в локальном, ни во временном значении. Эти значения предлога не зафиксированы и в древнерусском языке⁷. След локального употребления предлога сохраняется в сложных предлогах *промеж*, *промежду*, ср. укр. *проміж*, *з-проміж*. В таких случаях обычно комбинируются только локальные предлоги, причем новый предлог выражает сложное пространственное отношение, ср. рус. *из-под*, *из-за*, укр. *понад*, *понад* (в украинском языке этот способ создания новых предлогов используется особенно активно). В случае *промеж(ду)* к значению границы, выражавшемуся предлогом *меж(ду)*, присоединялось значение предлога *про*, так появилось новое значение — ширина, протяженность границы. В локальном и временном значении предлог *про* не сохранился и в других славянских языках (в большинстве из них он вообще исчез, как и одноименная приставка, см. ниже). Уникальный для современных славянских языков случай локального употребления предлога (и предложно-приставочного параллелизма) отмечен в болгарской народной песне-заклинании: *Да даде господ, сине ли, Девет годин да лежиш, Девет постелки да сдереш; Да станеш, сине, да станеш Про пръстен да се провираш И с игла да се подпираш*⁸. Предлог здесь имеет значение «через»: через кольцо ты (сын) пролезешь. Следы локального употребления предлога, а главное — локальное значение приставки позволяют восстановить исходное значение праславянского наречия, которое превратилось в предлог-приставку *pra-*: оно реконструируется как «через, сквозь». Об этом же говорят индоевропейские соответствия, ср. литовск. префикс *pra* — *durch, vorbei*, древнепрусск. предлог *pra-* *durch, für*, др.-инд. *pra-* *vor*⁹; др.-греч. *πρό-* — *перед*, латинск. *pro*, готск. *fra-*, немецк. *ver-*⁹. К. Бругман восстанавливает значение индоевропейского этимона как *vorwärts, voran*¹⁰. Это наречие, широко представленное в индоевропейских языках, является одним из членов целой группы наречий, объединяемых консонантной

⁷ См. об этом кандидатскую диссертацию Г. В. Шекуровой История предлога *про-* в русском языке (с XI по XVII в.), Л., 1955 (машинопись).

⁸ Цит. по: Кирил Бабов. Зависимость между представки и предлози при глаголитне словосъчетания в руски и в български език (Годишник на Софийския университет. Филологически факултет. Том LVII, 2, 1963); стр. 530.

⁹ Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena, 1, Praha, 1973, стр. 219—220; W. Vondrák. Vergleichende slavische Grammatik, 2 Band, Göttingen, 1928, стр. 313; K. Brugmann. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 2 Band, 2 Teil, Strassburg, 1911, стр. 873.

¹⁰ K. Brugmann, указ. соч., стр. 873.

частью *p-r* и общим значением¹¹. На славянской почве представителями этой семьи оказываются, кроме *pro*, наречия *per*, *pri*, а также их дериваты. По мнению ряда исследователей (Райхельт, Мейе), эти наречия являются различными падежными формами одного и того же исходного имени¹². Формальное и семантическое сходство этих наречий и их производных привело впоследствии к их взаимодействию и конкуренции, что вызывало частичное или полное вытеснение предлога или приставки на почве отдельных славянских языков. Особенно близкой оказалась семантика *pro* и *per* (не только в славянских языках, см. статью Э. Бенвениста о соответствующих латинских предлогах¹³). Но прежде чем рассматривать функционирование *pro* и *per* в славянских языках, остановимся на их производных. Некоторые из них восходят еще к индоевропейской эпохе, другие же являются инновациями славянских языков. Это следующие образования: 1) от наречия *pro*: *proti*, *prok-* 2) от наречия *per*: *perd-*, *perz-*, *perk-*. Как показывает сравнение семантики исходных и производных форм, присоединением вспомогательных элементов не трансформировалась семантика начальной формы: с помощью элементов *ti*, *k*, *z* создавались эксплицитные средства выражения одного из значений сложного семантически исходного слова, в более редких случаях значение производного слова совпадало со значением исходного слова. Так, *proti* возникло в результате присоединения элемента *ti* к наречию *pro*, ср. др.-инд. *prāti* — 'против, навстречу', латышск. *pret*, *preti* 'против', греч. гомер. *πρῶτι*, ср. присоединение этого элемента к другим словам: авестийск. *pāti*, *anti*, литовск. *ait*¹⁴. Ср. сохранение этого же значения в непроизводном предлоге древнерусского языка: *Что ся дѣяло про мене, того всего проститъ тя Богъ* (Слово къ Божию служб вел. кн. Дмитрию, до 1078, И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка — далее СМ — М., 1958, II, 1508). *Prok-* и *perk-* являются результатом *k*-расширения исходных наречий, ср. соответствия в других индоевропейских языках: др.-лат. *prosum*, ср. *reciprocus*, греч. *πρῶκα*¹⁵. Так появилось слово *prokъ*, откуда рус. *прочь*, *прочий*, *прочный*, пол. *przez*, *prócz*, чеш. *průč*, словац. *preč* и т. д. В ряде случаев это значение ('weg'), как представляется, можно проследить в приставочных образованиях древнерусского языка, ср. *пропасти* — провалиться: *Откунъ горъ*

ж
м
з
д
м

великий тако и с мѣсто пропалъ, Форнелюм горъ и с мѣсто

¹¹ См. К. Brugmann, указ. соч., стр. 864 сл.

¹² См. А. Meillet, *Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave*. Première partie, Paris. 1902, стр. 155.

¹³ Э. Бенвенист. Логические основы системы предлогов в латинском языке. — В кн.: Э. Бенвенист. Общая лингвистика, М., 1974.

¹⁴ К. Brugmann, указ. соч., стр. 877, 731, 802.

¹⁵ А. Meillet, указ. соч., стр. 329; М. Фасмер, указ. соч., III, стр. 373.

К А
та же *впа* в землю (Сб. Кирилло-Белозерского монастыря, XV в., СМ, II, 1554), ср. лат. *proicio* 'werfe weg', *profundo* 'vergeude', 'verschwende', гот. *frawairpan*, др.-в.-нем. *firwerfan* 'verwerfen'.¹⁶ Форма *perk-* выступает в старославянском в виде *прѣкы* (*въ прѣкы*) и приставки *прѣкы-*, ср. *прѣкословити*, *прѣкоглаголати*, ср. рус. *вопреки*, *поперек*, *перечить*, укр. *заперечувати* (отрицать), пол. *poprzek*, *przeczyć* (отрицать, противоречить), сербохорв. предлог-наречие *преко* — через, сверх, вопреки, напротив. Значение *к*-расширения (*durch*, *поперек*, ср. *поперечный*), как можно предположить, сходно со значением другого расширения (*per-z*), ср. пол. *poprzek* (устар.) -поперек- и *poprzecz* — через, насквозь, оба они в главном продолжают значение исходного *per*, что находит отражение в семантике глаголов с локальной приставкой, ср., например, ст.-слав. *прѣити*, в таких образованиях речь идет о движении поперек чего-то. Форма *perd-* (ср. аналогичные расширения *nad-*, *pod-*, *zad-*) со следующими значениями в старославянском: в качестве предлога 'vor', в качестве наречия 'vornan', в качестве существительного 'das Vordere, vorderer Teil'¹⁷, ср. употребление приставки *per* в значении *d*-расширения и с таким предлогом в старославянском языке: азъ есмь 'gavŋ(ii)lŋ pręstojei grędŋ b(ogo)tŋ'¹⁸. Не останавливаясь на различных гипотезах о происхождении элемента *d*, отметим, что, как представляется, *perd* отличается от *per* наличием статического значения, значения нахождения перед чем-то (локальное значение), предшествования (временное значение), тогда как *per* имеет процессуальное значение, значение движения вперед и через что-то. Поэтому приставки *per-* и *perd-* четко различаются и дают различные дериваты, зато сходство с одним из значений приставки *pro-* 'наперед, заранее, перед чем-либо' — приводит к появлению дублетов или синонимичных образований, ср. в церковно-славянском русского извода *провидѣти* и *прѣдъвидѣти*, *прописати* и *прѣдъписати*, *провѣзвѣстити* и *прѣдъвѣзвѣстити*. Форма *perz* возникла в результате присоединения элемента *z* к простому наречию-предлогу, ср. также *niz*, *bez*, *orz*¹⁹, ср. ст.-слав. *прѣзь*. В других славянских языках: болг., сербохорв. *през*, чеш. *přes*, пол. *przez*, в этих языках расширенный предлог вытеснил непродуцированный. Так, в польском языке *przez* заменило *prze*, ср. ст.-пол. *prze-ędzā*, остатком старого состояния (помимо приставки, об этом далее) являются слова *przebóg* и *przeło*²⁰. Среди

¹⁶ К. Brugmann, указ. соч., стр. 875.

¹⁷ К. Brugmann, указ. соч., стр. 871.

¹⁸ См. об этом: W. Vondrak, указ. соч., II, стр. 208; К. Brugmann, указ. соч., стр. 735.

¹⁹ К. Brugmann, указ. соч., стр. 735; W. Vondrak, указ. соч., стр. 298—299.

²⁰ S. Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa, 1971, стр. 231.

восточнославянских языков этот предлог шире всего представлен в белорусском языке (литературное *праз*, в диалектах, кроме этого, и *перез*, *пипраз*). В русском языке он отмечен в юго-западных говорах, ср. *Переправились перез реку*. Особенно любопытно временное употребление предлога, ср. *Он перез всю неделю бранился. Перез день мылася*, что соответствует пердуративному употреблению приставки *про-* в современном русском языке. В украинском языке этот предлог засвидетельствован лишь в юго-западных диалектах²¹.

Таким образом, как видно из краткого обозрения судьбы наречий-предлогов *per* и *pro* в славянских языках, *per* исчезло во всех славянских языках, *pro* исчезло как локальный предлог, сохранившись в ряде языков (восточнославянские, чешский) в других значениях. Вместо локальных предлогов используются либо расширения старых предлогов (точнее — одного предлога — *per*), либо синонимичные предлоги, ср. рус. *через*, *сквозь*, укр. *крізь*, белор. *цераз*, и т. д.

3. Различение приставок *pro-* и *per-* сохранилось в восточнославянских, южнославянских (кроме словенского, где *pre* почти полностью вытеснило *pro-*) и чешском языках. В западнославянских языках используется только приставка *per-* (пол. *prze-*, словац. *pre-*, в-луж. *pře-*, н.-луж. *pše-*), решающую роль в объединении этих приставок сыграли семантические факторы, близость значений обеих приставок; что касается пердуративных глаголов, то вполне возможно, что в этих языках существовал только тип с *per-*.

Для определения изначального локального значения приставок *pro-* и *per-* обратимся к приставочным дериватам глаголов движения, глаголы движения наиболее отчетливо отражают исходную семантику префикса. Ср. рус. *пройти весь мир, через лес, сквозь чащу; пробежать десять километров, пролететь расстояние (за 5 часов), пронести чемодан два квартала*; укр. *пройти весь світ, крізь ліс, хащі, пробігти десять кілометрів, пролетіти віддаль (за 5 годин), пронести валізку два квартали*; белор. *прайсці увесь свет, праз лес*, и т. д. В старославянском языке: *proide tēsnyimi dvьgьmi na širokь i velikь světъ* (Супрасльская рукопись, S. Stoński, Funkcje prefiksów werbalnych w języku starosłowiańskim, Warszawa, 1937, 198, далее — Сл.), *provede je vь bezdъně* (Син. псалтирь, Сл., 205); в древнерусском: *Оудобѣ бо естъ вельбУдоу сквозѣ оуши игълинѣ проути*,

²¹ А. Г. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. М., 1958, т. II, стр. 40; В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. III, М., 1956, стр. 53; Б. Гринченко. Словарь української мови. Київ, 1958, т. 3, стр. 118.

неже богатоу въ црѣвѣ Бжїе вѣнѣти (Остромирово евангеліе, СМ, II, 1532), Пробѣжа Ладѣскую землю, гонимъ Бжїмъ гнѣвомъ, прибѣжа в пустыню (Повесть временных лет, СМ, II, 1510). Обычным для глаголов этого типа является управление Вин. пад. без предлога либо с предлогами *сквозь*, *через*. В случае употребления предлога можно говорить о предложно-приставочном параллелизме.

Для второй приставки: *перейти дорогу, мост, речку, на ту сторону, перевезти на другое место, через речку, перелететь океан, через океан*; укр. *перейти дорогу, міст, через річку, на той бїк, перевезти на інше місце, перелетіти океан, через океан*; бел. *перайці цераз дарогу, мост, на той бок, и т. д.* В старославянском языке: *prěidemъ na onъ polъ* (Еванг. от Марка), *potokъ prěide duša naša* (Син. псалтырь, оба примера — Сл., 181); *jegda prěležoše mostъ* (Супрасльск. рук., Сл., 182), *otъ negože na větrě prěnesenъ bystъ* (Супрасльск. рук., Сл., 185); в древнерусском языке: *Гюргеви же пришедши в борзѣ к Зарубу, и перебрдоша чересъ Днѣпръ* (Пов. врем. лет, СМ, II, 896); *Гюрги ... перебѣже за Днѣпръ и съ снми своими, и бѣжа в городокъ въ Вострьскїй* (Ипат. лет., СМ, II, 897). Отметим для приставочных образований этого типа управление Вин. пад. без предлога либо с предлогом *через*, второй предлог (рус. *сквозь*, укр. *скрізь*, бел. *праз*) в этом случае не выступает, что обусловлено различием семантики приставок.

Как можно отметить, исходное локальное значение обеих приставок весьма близко: они обозначают движение вперед, преодоление какого-то пространства при движении вперед. Но для приставки *про-* это сплошное движение, следование через или сквозь что-либо, прохождение пространства. Для приставки *пере-* движение представляется скорее как преодоление какого-то пространства, причем важны начальный и конечный пункты движения, оно представляется дугообразным, без последовательного минования этапов пути. Отсюда и невозможность употребления предлога *сквозь* при глаголах с этой приставкой, ср. такие пары, как *пройти — перейти, пронести — перенести, провезти — перевезти*, а также *проскочить — перескочить, продвинуть — передвинуть, перепрыгнуть* при отсутствующем *пропрыгнуть*. Можно, очевидно, сказать, что приставка *про-* обозначает движение вдоль, продольное движение, тогда как приставка *пере-* обозначает поперечное движение. Вхождение этимологической приставки-наречия в определяющие термины подтверждают правильность этого. Отметим, кстати, что об изначальной близости обеих приставок свидетельствуют их древние имен-ные дериваты: *простой* (от *pro*) с первоначальным значением 'прямой', ср. пол. *prosty*, чеш. *prostý* (простой, прямой) и т. д.,

это же значение в древнерусском²²; по мнению Г. А. Ильинского²³, *прямой* восходит к наречию *per* (*prě-m*), ср. ст.-слав. *прѣмѣ*, однако, эта этимология подвергается сомнению²⁴.

Первоначальные значения приставок определили и развитие их семантики. Мы не ставим своей задачей исследование семантической эволюции этих приставок в славянских языках. Важно отметить, во-первых, что развитие семантики приставок шло независимо от развития одноименных предлогов, которые исчезли в славянских языках вообще либо как локальные указатели. Во-вторых, какие-то этапы семантической эволюции приставок могут относиться к праславянской эпохе, другие же являются результатом независимого, параллельного развития их в отдельных славянских языках (в ряде языков эти приставки совпали). Для нас представляет интерес лишь временное использование приставок, время и история формирования пердуративных глаголов с приставками *про-* и *пере-*. Для исследования истории пердуративного способа действия необходимо рассмотреть: 1) его наличие в старославянском и древнерусском (ранней поры) языках; 2) его развитие в русском языке; 3) соотношение пердуративного и делимитативного способов действия.

4. Старославянский материал был просмотрен по следующим работам:

1. Stanisław Słoiński, *Funkcje prefiksów werbalnych w języku starosłowiańskim (starobułgarskim)*, Warszawa, 1937; 2. L. Sadnik und R. Aitzetmüller, *Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten*, Heidelberg — s'Gravenhage, 1955; 3. Antonín Dostál, *Studie o vidovém systému v staroslověnsčině*, Praha, 1954.

В работах Л. Садник — Р. Айтцетмюллера и А. Достала пердуративные глаголы с приставкой *про-* не отмечены, об этом говорит трактовка фиксируемых глаголов. Иная картина в книге С. Слоньского. Слоньский находит, что приставка *pre-* обозначает движение с одного места на другое, а приставка *pro-* — движение через центр, сквозь что-то. Эту функцию приставок он называет перкурсивной, временное использование перкурсивной функции — пердуративным. По мнению Слоньского, следующие пять глаголов имеют пердуративную приставку *pro-*: *probaviti*, *prokazǫlěti*, *pronyriti*, *proslaviti*, *prozǫbnŏti*. Проверка показала, что такое понимание этих форм сомнительно либо неверно. Рассмотрим эти глаголы. *Probaviti*: Глагол отмечен в Синайской псалтыри: *probavi milost' svojo vědŏštiim' tje* (Сл.,

²² СМ, II, 1582.

²³ Г. А. Ильинский. Сложные местоимения и окончания Родительного пад. ед. ч. м. и ср. р. неличных местоимений в славянских языках. М., 1905, стр. 93.

²⁴ А. Г. Преображенский, указ. соч., II, стр. 144.

195). В словаре Садник — Айтцетмюллера он переводится '(fort)währen lassen' (290); в книге Достала — 'prodloužiti' (т. е. продолжить, продлить): *prodlouž svou milost těm, kteří Tě znají* (406—407). Формально это каузатив к не отмеченному в старославянском и древнерусском языках глаголу *пробыти* (т. е. *пробыти* — *пробавити*, как *прослыти* — *прославити*). Что касается его семантики, то речь может идти лишь о переносном употреблении глагола в локальном значении, во всяком случае к пердуративам этот глагол отнести нельзя. *Prokazylěti*. Глагол отмечен один раз в Супрасльской рукописи (Сл., 199). Сам Слоньский не настаивает на отнесении его к пердуративам, И. И. Срезневский переводит глагол «злоумышлять» (СМ, II, 1535). *Pronyriti*: Глагол отмечен один раз в Супрасльской рукописи: *mnite ... pronyrystvomъ vъzdrъžanija pronyriti slavoъ božijо* (Сл., 200). В словаре Садник—Айтцетмюллера глагол переводится «in Anspruch nehmen» (108), в книге Достала: «pomstiti se, stati se zlomyšlnym» (423). Отсутствие временного показателя и наличие прямого дополнения свидетельствуют о переносном употреблении глагола с локальной приставкой. *Proslaviti*: Многократно зафиксированный глагол ср., например: *prosvětitiť (sic!) se svěťъ vašъ přědъ čky da uzbrěťъ děla vaša dobrae i proslavěťъ oca vašego ižъ estъ na nbsch* (Ев. от Матфея, Дост., 353). В словаре Садник—Айтцетмюллера глагол переводится 'verherzlichen, preisen' (109). Совершенно очевидно, что и в этом случае, имеем дело с переносным употреблением глагола с локальной приставкой, точнее — приставка обозначает локальную протяженность абстрактного действия. *Prozěbnoti*. Этот глагол Слоньский относит к пердуративам (206) лишь в одном из его употреблений: *prozěbosta ploda blagověrъnaago* (Супр. рук.), но и здесь глагол с локальной приставкой употреблен в переносном, но не временном значении.

Анализ этих немногочисленных и сомнительных примеров показывает, что нет оснований предполагать наличие пердуративного способа действия с приставкой *про-* в старославянском языке.

Глаголы с приставкой *прѣ-*. Здесь отмечены отдельные глаголы, свидетельствующие о наличии (или о зарождении) этого способа действия в старославянском языке. К пердуративам можно отнести глагол *прѣbyti*, отмеченный 79 раз (Достал, 290), ср. *sěmъ ego vъ věky přěbъdetъ* (Син. псалтирь, Сл., 179). В словаре Садник—Айтцетмюллера глагол переводится 'bleiben, verharren, dauern' (98), в книге Достала — 'přetvoati, přěčkati, vytvarati, zŭstati' (290). К числу вероятных пердуративов можно отнести *прѣtrpěti*, *прѣstradati*, *прѣprovoditi*. Слоньский считает пердуративами и большую группу других глаголов (*прѣdoleti*, *прѣkřmiti*, *прѣmlčati*, *прѣmošti*, *прѣpitěti*, *прѣpyreti* и т. д.), которые не могут быть отнесены к этой группе.

Древнерусский язык. Рассмотрим вначале материал XI—XIV вв., затем данные XV—XVII вв. Древнерусский материал почерпнут из следующих источников: 1. Картотека Словаря древнерусского языка XI—XIV вв. Института русского языка АН СССР (СДР); 2. Картотека Словаря древнерусского языка XI—XVII вв. Института русского языка АН СССР (ДРС); 3. Картотека Исторического словаря русского языка XV—XVIII вв. Межкафедрального словарного кабинета Ленинградского университета (МСК ЛГУ); 4. И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, I—IV, 1958 (СМ). Начнем с приставки *пере-/прѣ-*, так как этот тип зафиксирован в старославянском языке. Нужно отметить, что наличие приставки *прѣ-* вместо *пере-* не может свидетельствовать о церковнославянском происхождении глагола, так как в древнерусских памятниках *прѣ-* выступало значительно чаще, чем его восточнославянский вариант²⁵.

Пердуративные глаголы с приставкой *пере-/прѣ-*. В памятниках XI—XIV веков эти глаголы представлены относительно значительной группой: 1) *прѣбѣдѣти*: *На поли на дожди и на снѣгоу прѣбѣдѣша* (Скитский патерик, 1296, СМ, II, 1618);

2) *прѣбыти/прѣбывати*: *Отъиде мѣти его на село и яко же прѣбыти еи тамо дѣни мнози* (Несторово житие Феодосия, СМ, II, 1619); 3) *прѣжити*: *Прѣживѣше лѣта* (Пандекты Никона Черногорца, XII в., СМ, II, 1618); 4) *прѣжѣдати/прѣжидати*: *Прежде до свѣта* (Пов. врем. лет, СМ, III, 1647); 5) *прѣлежати* (провести ночь, переночевать): *Не изволи моужь прележати* (Книга Судей по сп. XIV в., СМ, II, 1658), ср. более поздний пример: *Перележавъ ночь подъ Вышегородомъ* (Ипат. лет., 1425, СМ, II, 909); 6) *прѣмѣдли* (промедлить, остаться на время): *Егда же*

премедлить облакъ на храмъ дѣни мнози (Книга Чисел по сп. XIV в., СМ, II, 1671); 7) *перестояти* (простоять, переждать): *Перестоявъ ту 2 дни, поиде на третии день к Великому городу* (Пов. врем. лет., СМ, II, 915); 8) *пересѣпати* (провести ночь, переночевать): *Не смѣяше възнати переспати* (Пандекты Никона Черногорца; сп. XII—XIV вв., СМ, II, 914); 9) *пересѣдѣти*: *Пересѣдѣвъ мало дни, иде Звенигороду* (Пов. врем. лет, СМ, II, 917). Из более позднего материала можно добавить: 10) *переночевать*: *И как он одну ночь переначевал, и он вопрошался у нас в озеро на малое время пожить и покормиться* (Повесть о Ерше Ершовиче).

Состав глаголов, послуживших словообразовательной базой пердуративов этого типа, довольно однообразен: это глаголы состояния *быти*, *бѣдѣти*, *жити*, *жѣдати*, *сѣдѣти*, *стояти*, *сѣпати*. Кроме *жѣдати*, они непереходны и непердельны. Это делает

²⁵ См. И. И. Срезневский, указ. соч., т. II.

возможным предположение, что в древнерусском языке ранней поры зафиксирован начальный этап формирования пердуративного типа глаголов с приставкой *пере-*.

Пердуративные глаголы с приставкой *про-*, столь обычные в современных восточнославянских языках, в древнерусских памятниках XI—XIV вв. не представлены ни одним примером. Несколько глаголов, формально совпадающих с нынешними пердуративами, на самом деле являются их омонимами, ср. *проблудити* (растлить): *Да не оскверниши дщере своего проблудитию* (Книга Левит по сп. XIV в., СМ, 1503); *пробѣгати*: *О лица*

Сарина ѡжа моя пробѣгаю (Книга Бытия по сп. XV в., СМ, II, 1510), ср. также *прокопати*, *проковати*, *прописати*, *промолати* и мн. другие глаголы с локальной приставкой. В отдельных случаях глагол с локальной приставкой, в переносном употреблении, обозначает заполненность действием какого-либо отрезка (например, временного), ср. *провести*, *проводити*, *проважати*:

Отолѣ живаше въ монастыри томъ, прочая дни своя проводи (Несторово житие Феодосия, СМ, II, 1513). Лишь для единственного глагола можно отметить значение, близкое к пердуративному, речь идет о *прослужити*, ср. *прослуже блжнѣйшѣ*

Василии не токмо црствующи в градѣ но и во всѣх странах медоточивым оученьем яко рѣка напаяа землю всѣм же баше пастух явѣи оучѣль и просто вождь слѣпым и заблужшимъ наставник (Пролог XIV—XV вв., СДР). Как представляется, памятники древнерусского и церковнославянского языка XI—XIV вв. не дают оснований говорить о существовании в этот период пердуративных глаголов с приставкой *про-*. Бесспорные случаи фиксации пердуративов этого типа относятся к более позднему периоду. Рассмотрим эти глаголы.

1. **Пробыть.** Отнесение этого глагола к собственно пердуративам сомнительно, может быть, его следовало бы отнести к стадии, предшествовавшей появлению собственно пердуративов: дело в том, что при нем не встречаются временные конструкции. Ср. *И печатникъ и посольской дьякъ Василей Яковличъ говорилъ Андибеку: сказывалъ ты, что шелъ ты моремъ и на море потонулъ, и аргамаки у тебя какъ пробыли? Да тебя жъ, сказываешь, громили турские люди и поминки, что было послано къ государю отъ Аббасъ шаха взяли, а тѣ аргамаки и дѣвки, которыхъ ты съ собою не попригожю привезъ гдѣ пробыли?* (Донские дела, 1642, ДРС), ср. аналогичный по значению глагол *прѣбыти*. В пердуративном значении с временной конструкцией: ... *только у меня хлѣба пробыт месяц покул к мсти твоеи съудят* (1691, МСК ЛГУ); *я часа конечно не промешкаю, и ставлю себѣ за грѣхъ пробыть столь долго съ этимъ злодѣемъ, достойнымъ презрѣнія отъ цѣлаго свѣта* (Лукин, I, 1765, ДРС).

2) **Продержать.** Только поздние примеры: ... и для того счета оставленъ былъ у города отъ обер-комиссара купчина Мухайла Турчениновъ, и о тѣхъ пошлинахъ вице-губернатор счету никакого не учинилъ, только продержалъ его у города до февраля мѣсяца ... (Доклады в Сенате, 1713, ДРС):

3) **Прожить.** До прошлого гсдръ лета вышла я сирота за другога мужа прожить стало не о комъ бѣгъ изволил недолго прожил помер (док. XVII — нач. XVIII вв., МСК ЛГУ).

4) **Пролежать.** И тот у меня двор в закладной со всѣми хороми и с мѣстомъ срокъ пролежалъ ... (Книга списков с крепостей Соловецкого монастыря, док. от 1581, ДРС).

5) **Промешкать.** Когда А всталъ уже перестали звонить иннакъ рѣдко службу божю промешкаю въ возкресеннii или въ праздникъ (Лудольф, Русская грамматика, 1696, ДРС).

6) **Проспать.** Всегда лутче поутру раней вставать нежели в вечеру долго просидевши проспать до двенатцатого часу (Болотов, Памятная книжка, 1691, ДРС); зѣло былъ пьянъ и пришелъ домой, проспалъ долго (Повесть о Василии-златовласом королевиче, сп. XVIII в., ДРС).

7) **Просидеть.** Помимо примера, указанного в статье «проспать», см. А просидѣлъ вчерась с некоторыми друзами которых А въ гости звалъ и того ради А шпалъ сА (Лудольф, Русская грамматика, 1696, ДРС).

8) **Простоять.** Простоялъ в-избѣ оу столба пещна (Житие Зосима и Саввы, XVI в., СМ, II, 1578); Декабря съ 20 числа генваря по 17 де сварено соли семь вар, того же числа поставлена для печной прятки простояла без вареня три дни (Книга Иверского монастыря, 1662 г., ДРС).

Наиболее ранние свидетельства пердуративного типа на про- в русском языке — это образования от стательных глаголов (быть, жить, лежать, сидеть, стоять) либо от глаголов, близких к стательным: держать, мешкать. Любопытно, что и количественно и фактически это образования от тех же исходных глаголов, что и пердуративы с приставкой пере-/прѣ-, отмеченные в предшествующий период (XI—XIV), ср. такие дублеты: прѣбыти — пробыти, прѣжити — прожити, прѣлежати — пролежати, пересѣдѣти — просидеть, перестояти — простоять. Образования от других семантических разрядов очень редки и отмечены еще позже (XVII—XVIII вв.), ср. ниже примеры из словарей. Примеры из текстов: проработать: а самихъ банкротовъ, яко обществу нестерпимыхъ и заразительныхъ людей, отсылать вѣчно на каторгу, и сколько онъ проработаетъ, за то въ конкурсъ кредиторамъ получать по двѣнадцати рублевъ на годъ (Наказы Комиссии уложения, 1767, ДРС); простряпать: Ночь всю зимнюю простряпалъ маленько полежавъ с нимъ пошелъ въ церковь заутреню пѣть (Житие Аввакума, ДРС).

Как известно, временные способы действия образуются от

непредельных глаголов²⁶. Ядром категории непредельности, наиболее «чистыми» непредельными глаголами, которые никогда не выступают в предельном значении, являются глаголы состояния. Именно с них начинается формирование временного приставочного способа действия. Такая закономерность установлена для ограничительного способа действия (глаголы типа *посидеть, поговорить*)²⁷. Отсюда вполне логично предположить, что в старославянском языке и в древнерусском языке XI—XIV вв. засвидетельствован начальный этап формирования пердуративных глаголов с приставкой *прѣ-/пере-*, а в древнерусском языке XIV—XVI вв. зафиксирован начальный этап образования пердуративных глаголов с приставкой *про-*. Отсутствие пердуративов с приставкой *про-* в старославянском языке и в древнерусских памятниках до XV—XVI вв. дает основание предполагать, что в древнерусском языке ранней поры этот способ действия (с приставкой *про-*) отсутствовал, но надежность такого предположения могли препятствовать факторы стилистического порядка: не исключено, что пердуративный тип на *про-* развился в народно-разговорном языке и поэтому не представлен в памятниках ранней поры. Но словообразовательные аргументы — в памятниках XVI—XVII вв. отмечены лишь образования от стальных глаголов — делает предположение о позднем появлении пердуративов на *про-* в русском языке более вероятным. Об этом же, как будет показано дальше, говорит и соотношение пердуративного типа на *про-* и делимитативного типа на *по-*.

Проследим, как фиксируются пердуративные глаголы с приставкой *про-* в словарях XVIII в. В «Лексиконе трехязычном» Ф. Поликарпова (1704) они не отмечены. В «Российском целларнусе» Ф. Гелтергофа (М., 1771) указаны два пердуратива с *про-*: *пробываю ... bleiben, sich aushalten* (32); *проплакиваю — die ganze Zeit über weinen* (378), другие глаголы с *про-* не имеют этого значения, ср. *прогараю — durchbrennen* (109), *проигрываю — verspielen* (187). В «Российском с немецким и французским переводами словаре» И. Нордстета (СПб, I — 1780, II — 1782) три пердуратива — *прокричать* (661), *пролежать* (662), *простоять* (666). Значительная группа пердуративов (более 45) фиксируется «Словарем Академии Российской» (I—VI, 1789—1794, СПб). Здесь, наряду с образованиями от глаголов состояния (*пробыть, прождать, прожить, пролежать, просидеть, проспать, прохворать*), приводятся и пердуративы от глаголов движения (*пробегать, проездить, проходить, прощаться*), от глаголов физического действия, нередко с включен-

²⁶ М. А. Шелякин, указ. соч., стр. 280 сл.

²⁷ См. нашу статью «История русских ограничительных глаголов» — «Уч. зап. ТГУ», Труды по русской и славянской филологии, XXII. Серия лингвистическая, 1975.

ным объектом (*прокопать пруд, провалить, прогладить, проковать, проконопатить, прокурить, промолоть, промолотить, промерить, пропилить*), от глаголов со значением психического состояния (*провеселиться, протомиться, просердиться*). Как можно отметить, в «Словаре Академии Российской» XVIII в. пердуративный способ действия представлен в своих основных семантических разрядах, исключение составляют лишь образования от глаголов речи (есть лишь одно — *прокалякать*) и от глаголов, обозначающих звуковые явления.

Широкая употребительность пердуративов с приставкой *про-* в произведениях, отражающих разговорный язык того времени, не вызывает сомнения в том, что это был живой и продуктивный тип глагольного словообразования; в произведениях, отражающих церковнославянское влияние, такие глаголы не встречаются. Тем самым можно сделать предварительный вывод, что пердуративы с приставкой *про-* являются относительно поздним словообразовательным типом, оформившимся в народно-разговорном языке и пришедшим на смену пердуративному типу с приставкой *пере-/прѣ-*. Относительно последнего типа могут быть сделаны два предположения. Первое: тип пердуративов с приставкой складывается в старославянском, древнерусском раннего периода и в других славянских языках (либо наследуется ими из позднего праславянского), но в древнерусском развитие его задерживается, во-первых, интенсивным приобретением образованиями с приставкой *пере-/прѣ-* количественных значений (чрезмерности действия, дистрибутивности, взаимности, повторности действия), во-вторых, формированием пердуративов с приставкой *про-*. Второе. Пердуративный тип с приставкой *пере-/прѣ-* заимствован древнерусским языком из старославянского. Очевидно, предпочтение нужно отдать первому предположению, в поддержку его говорят факты ряда западнославянских языков, где утвердился в качестве единственного пердуративного типа разряд с приставкой *рег-* (польский, лужицкие), а эти языки не знали старославянского влияния. О вероятности праславянского происхождения пердуративного типа на *рег* говорит наличие сходных глаголов в других индоевропейских языках, оформленных тем же префиксом, ср. лат. *рег-посто*, лит. *reǵnakvóti* — рус. *переночевать*, лат. *рег-hiemo*, лит. *reǵziemavoti, reǵziemoti* — рус. *перезимовать*, ср. немецкие пердуративы *übernachten, überwintern* (любопытно, что для образования этих глаголов была использована приставка *über*, а не *durch*, соответствующая славянскому *про-*). В древнерусском языке тип пердуративов с *пере-* представлен несколькими словами. Он не выделяется в работе Н. К. Жученко, где исследуются глаголы с приставкой *пре-/пере-* в истории русского языка²⁸, Е. Г. Черкасова говорит о единичных случаях употребления глаголов

²⁸ Н. К. Жученко, указ. соч.

этого типа в русском литературном языке доломонсовского периода (*перезимовать, переночевать, пребывать/перебывать*)²⁹. В современном русском языке, помимо литературных глаголов *переночевать* (отмечен впервые в XVII в.) и *перезимовать* (не отмечен в памятниках), существует группа глаголов, близких по семантике к пердуративам. Е. А. Земская характеризует ее следующим образом: «Ряд непереходных глаголов, обозначающих положение в пространстве, пребывание в каком-нибудь состоянии в соединении с приставкой *пере-*, приобретает значение «пробыть какое-нибудь время в указанном состоянии, положении». Этот разряд глаголов живой, но непродуктивный, лексически и стилистически ограниченный: большинство глаголов этого типа свойственно разговорной речи, просторечию или областной речи. Не имеют подобной стилистической окраски только два глагола этого типа — *переночевать* и *перезимовать*»³⁰. Е. А. Земская приводит такие примеры употребления глаголов этого типа: *переждать, перебедовать, перемаяться, перестоять, передремать, переспать, перегостить, перебыть* (Не родил мак — *перебудем* и так), *перегодить, перебеситься, переболеть, перебродить, перекипеть*. Но, строго говоря, эти глаголы нельзя назвать пердуративами: для них характерно значение преодоления состояния, положения, расцениваемого как нежелательное, неприятное, ср. особенно такие глаголы, как *перебедовать, перемаяться, перебеситься, переболеть, перебыть* (обычно о неприятности, ср. укр. Біда біду перебуде : одна мине — десять буде), этим, возможно, и объясняется ограниченность и непродуктивность глаголов с *пере-*, ср. «открытость» пердуративного типа с приставкой *про-*. Для этих глаголов речь идет именно о преодолении состояния, а не о «прохождении», «миновании» какого-то временного промежутка, временная протяженность для них — дополнительная, вторичная примета. Такие глаголы противопоставлены «чистым» пердуративам, ср. различную семантику глаголов *прождать — переждать, проспать — переспать, прогостить — перегостить, просидеть — пересидеть*. Отсутствие такой подчеркнутости значения преодоления у старославянских и древнерусских глаголов с *пере-/прѣ-* объясняется, очевидно, монополярностью выражения пердуративного значения глаголами этого типа. Различие древнерусского и современного типов с приставкой *пере-* позволяет предположить, что современный тип оформился самостоятельно.

²⁹ Е. Г. Черкасова. О взаимодействии русских народных и церковнославянских элементов речи в русском литературном языке доломонсовского периода. — Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М., 1955, стр. 18.

³⁰ Е. А. Земская. Типы одновидовых приставочных глаголов в современном русском языке. — Исследования по грамматике русского литературного языка. М., 1955, стр. 18.

5. Пердуративные глаголы не могли возникнуть как результат присоединения временных ограничителей к глаголам с приставкой *про-* в локальном значении, т. е. *провозить зерно* — *провозить зерно две недели* — *провозить две недели*, так как в этом случае не только конструкции (*провозить зерно* и *провозить две недели*) несовместимы, но и глаголы омонимичны: *провозить (зерно)* — «суффиксальное» образование от *провезти*, *провозить (две недели)* — префиксальное образование от *возить*. Поскольку глаголы временных способов действия в памятниках представлены раньше других типов дериватами от глаголов состояния, то и объяснять историю этих способов действия нужно, исходя из глаголов состояния.

Перевод глаголов состояния в совершенный вид, собственно, не обозначает перфективации как таковой³¹, а лишь временное ограничение действия, т. е. выделение какого-то этапа этого «действия». В несовершенном виде такое выделение может быть выражено с помощью временной конструкции, нередкой при глаголах состояния, у глаголов совершенного вида это значение выражается временной конструкцией и приставкой или только приставкой (ср. *посидеть немного*, *просидеть полдня*). Процесс формирования пердуративов можно представить следующим образом. В древнерусском языке нередко использовались временные конструкции при глаголах состояния, среди них можно выделить: 1) конструкции со значением недлительного, неопределенного промежутка времени, такие конструкции сыграли определенную роль в формировании ограничительного способа действия; 2) конструкции со значением длительного, определенного промежутка времени, именно эти конструкции обусловили появление пердуративного типа с приставкой *про-*. Приведем несколько примеров их использования в древнерусском языке: *Федоръ и Ондръшко побѣгоша в Копорью въ городокъ и тамо сѣдѣша зиму всю* — I Новг. летопись; *Бяше бо сѣдѣлъ* (Судислав) *во Псковѣ въ тюрьмѣ лѣтъ 24* — I Псков. летопись (оба примера — СМ, III, 890); *А стоялъ великий князь въ Новгородской земли полъ четверты недели, а Псковичи стояшъ въ великомъ Новѣгородѣ съ силою своею полторы недели* — I Псков. лет.; *Воеваша Новгородскую волость и подъ Порховомъ стояша три дни* — там же (оба примера — СМ, III, 528). Для перфективации глаголов в таких конструкциях и была использована приставка *про-*, локальное значение которой было аналогично временному значению конструкции. Затем уже, по аналогии к глаголам состояния, приставка в данном значении (т. е. во временном) могла быть использована для сообщения пердуративного значения непредельным глаголам других семантических разрядов, например, глаголам ненаправленного движения (*про-*

³¹ Rudolf Ruzicka. Der Verbalaspekt in der altrussischen Nestorchronik. Berlin, 1957, стр. 41.

ходить, пробегать), глаголам речи и звука (проговорить, простонать, проохать), глаголам, обозначающим физическое действие (прокопать весь день, пропилить целый час) и т. д. Закреплению неопределенных глаголов с приставкой *про-* в пердуративном значении способствовала, как представляется, и их соотносительность с ограничительными глаголами.

6. Изучение истории ограничительного (делимитативного) способа действия показало, что этот словообразовательный тип сформировался на восточнославянской почве, причем в отнесенительно позднее время. В древнерусском языке раннего периода глаголы состояния переводятся в совершенный вид обычно с помощью приставки *по-* (наиболее делексикализованной приставки в древнерусском языке, в этом смысле полностью отличающейся от приставки *про-*), причем значения, присущие современной паре типа *поболеть — проболеть*, обычно не разграничиваются (небольшая группа пердуративов с *прѣ-/пере-* не меняла картины). Ср., с одной стороны: *На пути на борзѣ разболѣся, мало поболѣвъ, престаився* (I Новг. летопись, СМ, II, 987) — *ПриключисА емоу... неколико днѣи поболѣвшу и престаивисА* (Житие Стефана Пермского, сп. конца XV — нач. XVI в., ДРС). Значения неопределенности, непродолжительности и определенности, продолжительности в таких случаях выражается специальными временными конструкциями. Лишь постепенно, очевидно, под влиянием временных ограничительных конструкций глаголы типа *посънати, полежаи* приобретали ограничительное значение. Происходило явление, названное М. Бреалем семантическим заражением: слово вбирает в себя значение всей конструкции³². Тем самым происходит и «заражение» внутри слова: приставка вбирает в себя значение временной конструкции, получает ограничительное значение. Затем происходит постепенное распространение ограничительного словообразовательного типа на другие семантические разряды неопределенных глаголов. Так, глаголы ненаправленного движения в старославянском и древнерусском языках вообще не были способны перфективизироваться³³. Лишь впоследствии, после приобретения префиксом *по-* ограничительного значения, происходит образование соответствующих дериватов от глаголов ненаправленного движения. У разных семантических групп неопределенных глаголов образование делимитативных дериватов относится к различным периодам: раньше всего у глаголов состояния (может быть, начало его восходит к ранней исторической эпохе), значительно позже (вплоть до XVII века) — у других разрядов. Что касается глаголов со значением физического действия и психических процессов, то у них, по свидетельству памятников, делимитативное значение не обнаруживается и в

³² Michel Bréal. Essai de sémantique. Paris., 1899, стр. 220 сл.

³³ A. Dostál, указ. соч., стр. 418.

XVII веке. Т. е. можно говорить о длительном, постепенном и позднем формировании делимитативного способа действия в русском языке. С этим процессом, как представляется, имеет непосредственную связь и образование пердуративного способа действия. После того как образования типа *посѣдѣти, полежаи* перестали обозначать временную локализацию действия вообще и стали обозначать действие, представляющееся кратковременным, неопределенным, образовалась брешь: обозначение действия, представляющегося длительным и определенным. Эта брешь, очевидно, и была заполнена образованиями с приставкой *про-*, собственное локальное значение которой вполне подходило для этой роли. Таким образом, развитие и становление пердуративного способа действия шло параллельно с соответствующими процессами у делимитативного способа действия, с опережением у делимитативов: первые случаи фиксации делимитативов (от глаголов состояния) относятся к довольно раннему периоду (XII в.), пердуративы же отмечены лишь с XV—XVI вв. Трудно точно определить время зарождения и формирования этого словообразовательного типа. Но представляется несомненным, что он сформировался в эпоху самостоятельного существования русского языка, т. е. что в праславянском языке он не существовал. Следующие факты говорят об этом: 1) отсутствие пердуративов с *про-* в старославянском языке и поздняя их фиксация в памятниках древнерусского языка; 2) наличие в русских памятниках XVI—XVII вв. пердуративов, образуемых лишь от глаголов состояния — исходной их словообразовательной базы; 3) параллельное развитие делимитативного и пердуративного способов действия с некоторым запаздыванием последнего. Время формирования анализируемого способа действия, таким образом, может быть приблизительно определено в границах XV—XVII веков.

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФИКСОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В СИНХРОННОМ И ДИАХРОННОМ АСПЕКТАХ (на примере интерфиксов *-ш-* и *-ј-*)

О. Вески

Интерфиксация — сложный и до сих пор в достаточной мере дискуссионный вопрос теории словообразования. Проблема интерфиксов недостаточно изучена в синхронном плане. Тем больше трудностей и интереса эта тема представляет в плане диахронном.

Относительно интерфикса *-ш-* нам представляется важным доказать, что адъективное словообразование от несклоняемых существительных аналогично значительно более древнему типу образования прилагательных от наречий и проследить историю интерфикса *-ш-*, выступающего в указанной словообразовательной модели.

Что касается интерфикса *-ј-*, то существующие мнения о происхождении его в образованиях типа «кофе — кофейный» наводят на мысль о необходимости более глубокого диахронического анализа. Этим и объясняется столь подробный исторический экскурс во второй части статьи.

В отношении синхронического аспекта проблемы необходимо отметить, что здесь большой интерес представляет факт роста агглютинативности современного именного словообразования. Это прежде всего проявляется в ослаблении фонемных чередований на морфемном шве, которые активно вытесняются применением интерфиксов в этой позиции. Таким образом, интерфиксация подлежит рассмотрению с точки зрения анализа изменений в структуре производного слова, происходящих в XX веке: увеличение разнообразия производящих основ — основы сложносокращенных слов, аббревиатуры, заимствования из других языков. Интерфиксы обеспечивают им сохранение неизменности их звукового состава — неперемного условия при формировании словообразовательных моделей «несклоняемое существительное → прилагательное», «аббревиатура → прилагательное».

В русском языке имеется интерфикс *-ш-*, выступающий в

позициях после основ несклоняемых заимствованных существительных с исходом на гласные перед согласным суффикса (ср. *кино* — *кино-ш-ный*, *лото* — *лото-ш-ный*, *метро* — *метро-ш-ка*).

Формант *-ш-* существует в русском языке в древней словообразовательной модели «наречие → прилагательное», которая объединяется с названным выше типом образований несклоняемостью исходного слова. Учитывая большую древность модели «наречие → прилагательное», обратимся к ее рассмотрению для выяснения происхождения *-ш-*.

Модель «наречие → прилагательное» существовала еще в древнерусском языке:

вънЕ — *вънЕшьнии* (Изб. 1073 — СМ, I, 392)

въчера — *въчерашьнии* (Ефр. крм., Исх. по сп. XIV в. — СМ, I, 477)

дома — *домашьнии* (Остр. ев., Златостр. XII в., Гр. Вас. Дм. 1392 — СМ, I, 679)

дньсь — *дньсьнии* (Клоц, Пов. Врем. Лет. — СМ, I, 792)

днешьнии (Исх. по сп. XIV в. — СМ, I, 768)

здЕ — *здЕшьнии* (От. Ю. Син. гор., XIV в. — САН, 1847, 2, 281)

кромЕ — *кромЕшьнии* (Остр. ев. — СМ, I, 1329)

лЕтось — *лЕтосьнии* (Син. Пат., Мих. XI в. — СМ, II, 79)

лЕтошьнии (Лев. по сп. XIV в., Чис. по сп. XIV в. — СМ, II, 79)

нынЕча, *нынЕ* — *нынЕшьнии* (Изб. 1073, Син. Пат., Панд. Ант. XI в. — СМ, II, 481)

онамо — *онамошьнии* (Прол. март. — СМ, II, 524)

там(о) — *тамошьнии* (Гр. Наз. XI в., — СМ, III, 924)

тѣгда — *тѣгдашьнии* (Гр. Наз. XI в. — СМ, III, 1042)

утре — *утрешьнии* (в знач. «завтрашний») — (Сб. 1076, Син. Пат. — СМ, III, 1319)

Более поздние образования приводит Г. П. Павский:

ономеднись — *ономеднишний*

ономнясь — *ономняшний*

ночесь — *ночешний*

утрось — *утрошний*

давечь — *давешний* (САН 1790)

завтра — *завтрашний* (Поликарпов, Лекс. 1704, САН 1847, 2, 10)

сегодня — *сегодняшний* (Вейсм. Лекс. 1731, САН 1847, 3, 116)

теперь — *теперешний* (Оп. обл. сл. АН 1852)

Можно предположить, что интерфикс *-ш-* в прилагательных от наречий восходит к указательно-местоименной частице *сь*. Местоимение *сь* восходит к индоевропейскому **ki-*. Оно оформляло именительный-винительный падеж единственного числа: *поть-сь*, *гѣти-сь*, *лѣто-сь*, *утро-сь*. На это указал А. И. Соболевский¹, первым изучавший морфологический состав славянских наречий. Такое объяснение происхождения и функции *сь* было

¹ А. И. Соболевский. Некоторые древние формы славянского склонения. — РФВ, 1914, т. XXI, № 1.

затем принято Г. А. Ильинским в «Праславянской грамматике»²

В славянских языках при именах существительных, обозначающих части суток и времена года, имеются соответствующие наречные формы с конечным *-сь*. Основное значение этих наречий — истекший промежуток времени (иногда они имеют значение настоящего времени).

Русск.

ночьсь
веснусь
осенесь
зимусь
лЕтось

Болг.

нощес
пролетес
есенес
зимас
лятос

Сербо-хорватск.

ноћас
јесенас
зимус
лётос

Словинск.

nocēs
zimūs

Словенск.

jesenas
letos
jutros

У И. И. Срезневского в статье «Замечания об образовании слов из выражений» встречаем первое предположение о том, что *летошний* образовано «от *лЕтось* = *лЕто се*, *зимушний* — от *зимусь* = *зиму сию*»³.

Ср. также мнение М. Долобко о подобных формах в «малорусском» языке. Отмечая, что формы с *-сь* «полностью бытуют в северновеликорусских говорах», а «для малорусского можно указать только форму *днесь*»,⁴ он пишет: «Здесь можно предположить соответствующие формы наречных выражений на основании прилагательных *літошній* и *зимушній*.»⁵ Логически, трансформировав это высказывание, получим аргумент в пользу нашего предположения о происхождении *-ш-* из *-сь*. Но, разумеется, этого факта нельзя считать достаточным. Ср. в этой связи замечание А. М. Селищева: «Происхождение согласного *-š-* здесь (в прилагательных наречного происхождения с суффиксом *-š(b)n'* О. В.) не ясно.»⁶ Однако он также приходит к мысли о том, что *-š-* мог появиться из звука *s* перед палатальным *n* после утраты слабого редуцированного в словах типа *дньсьньиш*: *дньсьнь* → *днешн'и*.⁷

² Г. А. Ильинский. Праславянская грамматика. Нежин, 1916.

³ См. Сборник ОРЯС, т. десятый, СПб., 1873, с. LXXIV.

⁴ М. Долобко. Ночь — *ночьсь*, осень — *осенесь*, зима — *зимусь*. — «Slavia», 1927, гоѣ. V, seš. IV, с. 680.

⁵ Там же, с. 680.

⁶ А. М. Селищев. Старославянский язык. Ч. II. М., 1952, с. 80.

⁷ Там же, с. 80.

Решение вопроса о происхождении *-ш-* в словообразовательной модели «наречие → прилагательное» требует объяснения того, как *сын* перешло в *ш(ь)н*. Если проследить реализацию модели «наречие → прилагательное» в славянских языках, то выяснится, что интересующий нас формант *-ш-* является для них общим:

Восточнославянские языки

Русский

вчера — *вчерашний*
сегодня — *сегодняшний*
ныне — *нынешний*
завтра — *завтрашний*
тут — *тутошний*
там — *тамошний*

Белорусский

вчора — *вчорашый*
вчорешный
сегедни — *сегеднешний*
нынейший
ютро — *ютрошний*
туттай — *тутешний*
туто — *тутошний*

Украинский

вчора — *вчорашній*
сьогодні — *сьогоднішній*
нині — *нинішній*
завтра — *завтрашній*
тут — *тутешній*
там — *тамошній*

Ср. также приводимые Ф. Миклошичем⁸ примеры:
 русский язык: *долешний, зимушний, лонисный (из лони, лонись)*;
 украинский язык: *долишний, домашний, горишний, колишний, тогдашний, внішний, всегдашний, вранишний*.

Южнославянские языки

Болгарский

вчера — *вчерашен*
днес — *днешен*
утре — *утрешен*
вънешно —
там(о) — *тамошен*
тук(а) — *тукашен*
сега — *сегашен*
дома — *домашен*

Сербо-хорватский

учер — *учерашњи*
данас — *данашњи*
сутра — *сутрашњи*
 —
тамо — *тамошњи*
овде — *овдашњи*
тада — *тадашњи*
 —

Словенский

včera — *včerajšy*
dnes — *dněšny*
zajtra — *zajtrašy*
rano — *ranajšy*
von — *vonkajšy*
tam — *tamojšy*

⁸ F. Miklosich. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprache. Wien, 1872—1875, B. II, c. 156—157.

Сюда можно добавить приводимые Миклошичем слова⁹:

Болгарский язык

годинешен
тѣзгодишен
вѣтрешен
нинешен
подирешен
секогишен
тогашен
вѣнкашен

Хорватский язык

zimušnj < zimus
ljetošnj < letos
nocašnji
suvišnji
tokoršnji < tokorse
uskršnji
jesenašji
davnašnji < davna

Т. Маретич приводит для сербохорватского языка также следующие примеры:¹⁰ *jütrosnji, ljëtašnji* (< *jütros-nji*); *ljetos-nji, dömašnji* (< *döma*), *nëkadašnji, öndasnji, srädasnji, väzdašnji, mäloprešnji* (< *mäloprešnja voda*).

Западнославянские языки

Польский

wczoraj-wczorajszy
dzisiaj-dzisiejszy
jutro-jutrzejszy
tam-tamejszy
tutaj-tulejszy
teraz-teraźniejszy
ninie-niniejszy
onegdaj-onegdajszy

Чешский

včera-včerejší
dnes-dnešní
zitra-zitřejší
tam-tamejší
vne-vnější
nyni-nynější
tehdy-tehdejší

В польском и чешском языках суффиксы *-ejszy*, *-szy*, *-ejšy* оформляют сравнительную степень прилагательных. По утверждению А. Сечковского, тип образования прилагательных от наречий посредством этих суффиксов присущ всем западнославянским языкам¹¹. По отношению к отнаречным прилагательным об этих суффиксах говорят очень осторожно, избегая утверждений, Я. Лось и авторы «Исторической грамматики польского языка», ср.: «Может быть, сюда (т. е. к типу прилагательных с суффиксом *-sz(y)* со значением сравнительной степени — О. В.) принадлежат *tutejszy, dzisiejszy*, где *-szy* присоединено к *tutaj, dzisiaj* с выговором их *tutej, dzisiej*. Древность модели свидетельствует *wczorajszy* (XIV в.)». ¹² То же предполагается и в

⁹ F. Miklosich. Vergleichende Grammatik..., Bd. II, c. 157.

¹⁰ T. Maretić. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Zagreb, 1899, c. 93.

¹¹ A. Sieczkowski. Struktura słowotwórcza przymiotników czeskich i polskich. Wrocław, 1957, c. 20.

¹² Jan Łoś. Gramatyka polska. Cz. 2, Lwów-Warszawa-Kraków, 1925, c. 93—94; Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Splawiński, S. Urbańczyk. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1964.

отношении *-ejsz(y)*: *jutrzejszy, teraźniejszy, tamejszy, niniejszy*. Осторожность, проявляемая этими авторами при подобном предположении, вполне объяснима. Действительно, трудно усмотреть какие-либо формальные и семантические связи между словообразовательными моделями «прилагательное → сравнительная степень» и «наречие → прилагательное» для того, чтобы можно было говорить о переносе функции структурного элемента одной модели на другую, как это делает А. Сечковский.

В ст.-сл. языке модель «наречие → прилагательное» была продуктивной. Здесь имеем следующий ряд:

вънЕ — *вънЕштьнь* (Супр. рук. М, 98)

вънЕшнь (Гр. Наз. XI в., Крм. 1262 г. — М, 98)

въсегда — *въсегдашнь* (Леонт. XV в., Ис. Сир. XVI в. — М, 117)

въчера — *въчерашнь* (Гр. Наз. XI в. — М., 120)

дома — *домаштьнь* (Глаг. ев. Викт. IV — М, 171)

домашнь (Остр. ев. — М, 171)

долЕ — *долЕшнь* (Гр. Наз. XI в., Мих. XIII в. — М, 71)

дньсь — *дньсьнь* (Клоц. — М, 185)

дньешнь (Супр. рук. — М, 185)

зде(сьде) — *здешнь* (От. Ио. Син. гор. XV в. — М, 223)

кромЕ — *кромЕштьнь* (Панд. Ант. XI в. — М, 71)

кромЕшнь (Остр. ев. — М, 313)

нынЕ — *нынЕштьнь* (Антх. XI в. — М, 457)

нынЕчоу — *нынЕшнь* (Супр. рук., Гр. Наз. XI — М, 457)

онамо — *онамошнь* (Пат. Шаф., Прол. март. — М, 505)

тамо — *тамошнь* (Гр. — мон. 1400 г., Ио. ЛЕств. 1647 — М, 983)

оутре — *оутрьшнь* (Супр. рук., Сб. 1076 г., Пат. Шаф. — М, 1078)

Существующие объяснения происхождения *-ин-* в русских отнаречных прилагательных не представляются нам убедительными. По мнению Е. А. Земской, интерфикс *-ш-* в образованиях просторечного характера возник «под воздействием свойственного обиходной речи чередования *н/ш* такого типа, как *старикан—старикашка, камень—камешек*». ¹³ Это чередование никак не могло повлиять на формирование приведенного выше словообразовательного типа «*лото—лотошный...*», так как нельзя считать его регулярным, не говоря уже о том, что у большинства слов, входящих в этот тип, не имеется *-н-* в основе исходного слова. Кроме того, первые случаи фиксации чередования *н/ш* относятся только к XV в. ¹⁴

¹³ Е. А. Земская. Интерфиксация в современном русском словообразовании. — В кн.: Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1964.

¹⁴ См. об этом: П. С. Сигалов. «Чередование» *н/ш* в русских деминутивах. — Уч. зап. ТГУ, Труды по русской и славянской филологии, т. XVII, Тарту, 1971.

Г. П. Павский, рассматривая эту проблему, разделял все отнаренческие прилагательные по происхождению их от наречий с конечным *-сь* и без него, считая *-ш-* в этих подтипах генетически различными. Отмечая тот факт, что в некоторых славянских языках (старочешском, словацком, словенском, сербском) прилагательные от наречий времени имеют на конце *-ске*, *-ска*: серб. *данаске*, *јутроске*, *љетоске*, словц. *dnenska*, Павский утверждает на этом основании, что у русских прилагательных типа *внешний*, *всегдашний*, *вчерашний*, *теперешний* «в основании лежат *внеский*, *всегдаский*, *вчераский*, *тепереский*».¹⁵ В сочетаниях этого типа *-ск-* перед «мягким окончанием *-ний*» должно было переходить в *щ*, которое, упростившись дало *ш*. Но в русском языке никогда не существовало прилагательных типа *вчераский*, *тепереский*. Несостоятельность этого объяснения совершенно очевидна.

О прилагательных от наречий с *-сь* он замечает только, что «*сь* может обращаться в *ш* перед *-ний*, как, например, от *высь* образуется *вышний*»¹⁶, не развивая этой мысли и не укрепляя ее другими примерами. Тем не менее она представляется для нашего доказательства очень важной.

Авторы «Краткого этимологического словаря русского языка» считают, что данный словообразовательный тип заимствован из старославянского языка, где *-штънь* восходит к праславянскому суффиксу *-tj-ъnъ-*. Затем *шт*, произносившееся у восточных славян как *щ*, дало после утраты *ъ* *шн*.¹⁷ Но формы с *-шьн-* засвидетельствованы еще до того, как в XII—XIII вв. началось падение редуцированных:

вънЕшьнь (Гр. Наз. XI в. СМ, I, 392)

вънЕшьнии (Изб. Свят. 1073 г. — Там же)

въчерашьнии (Гр. Наз. XI в. — СМ, I, 477)

долЕшьнии (Гр. Наз. XI в. — САН, 1847, I, 274)

домашънии (Остр. ев., Златостр. XII в. — СМ, I, 679)

дънЕшьнии (Син. Пат., Пов. вр. лет — СМ, I, 768)

кромЕшьнии (Остр. ев., Панд. Ант. XI в. — СМ, I, 1329)

нынЕшьнии (Гр. Наз. XI в. Син. пат., Изб. 1073 г. — СМ, II, 481)

тѣгдашьнии (Гр. Наз. XI в. — СМ, III, 1042)

утрЕшьнии (Син. пат., Сб. 1073 г. — СМ, III, 1319)

Из гипотезы Н. М. Шанского следует, что в русских формах на месте *-шн-* должно быть *-чн-*, однако в древнерусских письменных памятниках отмечено всего четыре формы с *-чьнь*:

¹⁵ Г. П. Павский. Филологические наблюдения над составом русского языка. Рассуждение второе. СПб., 1852, с. 74.

¹⁶ Там же, с. 74.

¹⁷ Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1961, с. 313.

домачьнии (Поуч. Вс. Хр., Ряд. зап. 1568 г. — СБ, I, 105)
нынЕчьнии (Ефр. крм. XII в., Панд. Ант. XIV—XV в. — СМ, II, 481)

опричьнии (Прав. гр. Ферап. мон., ок. 1450 г., Жал. гр. Бл. мон. 1473—1478 гг. — СМ, II, 694)

опрочьнии (Посл. м. Фот. Пск. 1410—1417 гг. — СМ, II, 697)
причем три последних формы имеют *ч* в основе исходного слова; т. о. форма *домачьнии* стоит особняком среди отнаречных образований в древнерусском языке. Нельзя говорить в этой связи о переходе *-чн-* в *-шн-*, так как развитие *ч'* в *ш'* как следствие утраты затвора аффрикатой *ч'* в южнорусских диалектах началось не раньше XV — нач. XVI в.

Вернемся к сделанному вскользь упоминанию Г. П. Павского о возможности перехода *-сь* в *ш* перед *-ний*. Оно наводит на мысль о праславянском суффиксе *-ьп-jo*. Вопрос разрешает замечание А. Мейе о праславянских суффиксах, характеризующихся посредством *-j-*: «Основным славянским типом служит тот, где *-jo-* присоединяется к *-ьп-* в формах, образованных от наречий».¹⁸

Присоединяясь к формам типа *дьньсь*, *лЕтось* суффикс *-ьп-jo* влиял на *с*, изменяя его в *ш*. Ср. очевидный пример такого действия данного суффикса в слове *вешний*: к древней индоевропейской основе на *r(n)* ср. лит. *vasara*, др.-инд. *vasanas*, *vasar*, др. сев. герм. *vār*, арм. *garun* был присоединен суффикс *-ьп-jo*: *ves-ьп-jo*. Такую этимологию дают В. Н. Горяев и М. Фасмер.¹⁹

Сходным путем, как можно предположить, образовалось *ш(в)н* из *сь*. Прилагательные, образованные от наречий типа *дьньсь* с помощью суффикса *-ьп*, оформлялись вторым суффиксом *-jo*: *дьньсь > дьньсь + ьп + jo > дьньсьпjo*.

Под влиянием сильно смягчающего действия *j* сочетание *сьп* — превращалось в *шьп*. Ср., например, к вопросу о действии *j* такие примеры: *хитрый* — *ухищрение*, *мысль* — *мышление*, *пестрый* — *испещрять*. Н. Н. Дурново считал несомненным происхождение *ш* из *с* (перед палатальными согласными *л*, *н*: *помышлять*, *вешний*, ср. *мыслить*, *весна*).²⁰ Ср. также замечание Т. Маретича об изменении *с* в *š* в нашем случае: «Перед *nje*, которое восходит к *ně*, *s* может не изменяться: *snjegopadan*, *snježan*, *snježanica*, *snjěgovī*, но может и изменяться: *šnježne*; перед другими же по происхождению *nj < s* переходит в *š*: *tješnji*, *stiješnjen*, *prošnja*, *današnji*»²¹.

¹⁸ А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, с. 287.

¹⁹ В. Н. Горяев. Опыт сравнительного этимологического словаря литературного русского языка. Тифлис, 1892, с. 21; М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. 1964, т. I, с. 303.

²⁰ Н. Н. Дурново. Очерк истории русского языка. М.—Л., 1924, с. 121.

²¹ См. Т. Maretić. Gramatika..., с. 360.

Таким образом, интерфикс *-ш-* в отнаречных прилагательных восходит к *-сь*. А так как модели «наречие → прилагательное» и «несклоняемое заимствованное существительное → прилагательное» в структурном отношении объединяются несклоняемостью исходного слова, то, следовательно, можно полагать, что интерфикс *-ш-* в последней модели восходит к тому же *-сь* по типу наречий.

Интерфикс *-ш-* очень активен в современном словообразовании. Рассмотрим продуктивные словообразовательные модели, в которых выступает этот интерфикс.

Древняя модель образования прилагательных от наречий продуктивна и в современном языке, причем деривация возможна не только от отдельных слов, как обычно, но и от целых выражений:

всегда — *всегдашний* (САН, 1907)

зря — *зрянный* (САН 1907)

(в)заправду — *(в)заправдашний* (С. Образцов. Две поездки в Лондон)

еле-еле — *еле-елешний* (РЯСО, 41)

к обеду — *кобеднишная* (одежда) (В. Полторацкий. Лето.)

когда-то — *когдатошний* (М. Кольцов. Что могло быть.)

никуда — *никудышний* («Сельская жизнь», 16 апр. 1963)

никчему — *никчемушный* (М. Никулин. Полая вода)

с собой — *ссобошный* (РЯСО, 41)

В устной речи с помощью интерфикса *-ш-* создаются прилагательные с суффиксом *-н-* и имена лиц с суффиксом *-ник* и *-ка* (многие из них имеют окказиональный характер) от несклоняемых заимствованных существительных с исходом на *-о* и *-е*:

лото — *лотошный*

домино — *доминошный*, *доминошник*

кино — *киношный*, *киношка*, *киношник*

метро — *метрошный*, *метрошка* (впервые отмечено у В. Маяковского)

эскимо — *эскимошный*, *эскимошка*

фигаро — *фигарошка*

кимоно — *кимоношка*

рококо — *рококошный* (впервые отмечено у И. Грабаря)

Имеется и несколько образований от слов на *-е*, *-ю*:

безе — *безешка* (в значении «поцелуй», от франц. *baiser*; отмечено у Н. В. Гоголя и впервые зафиксировано в САН 1891. Второе значение — «пирожное». Производное — также *безешка*)

пенсне — *пенснешка*

кафе — *кафешка*

монпансье — *монпансьешка*

интервью — *интервьюшка*, *интервьюшник*

тире — тирешка
меню — менюшка, менюшный
ню (франц. *pie*) — нюшка²²

Здесь следует оговорить существительные типа *киношка*, *метрошка*. Строго говоря, *-шк-* в них должен рассматриваться как суффикс. В существительных этого типа *-шк-(а)* является алломорфом *-к(а)*, выступая после гласных в образованиях, мотивированных несклоняемыми существительными на гласную. Представляются допустимым рассматривать *-ш-* в соотносительном ряду *кино*—*киношка*—*киношный*—*киношник* как интерфикс.

Интерфикс *-ш-* оформляет и производные от аббревиатур на гласные:

ГТО — *гетеошный*, *гетеошник*
ГПУ — *гепеушный*, *гепеушник*
ГАИ — *гаишный*, *гаишник*
МГУ — *эмгеушный*, *эмгеушник*
ФЗУ — *фезеушный*, *фезеушник*

Производные с интерфиксом *-ш-* находятся за пределом литературной нормы. Они создаются в устной разговорной речи, в просторечии.

Среди интерфиксов, как и среди словообразовательных аффиксов, существует четкая стилистическая дифференциация. «Просторечному» интерфиксу *-ш-* противостоит «книжный» интерфикс *-j-*, ср.: *безейное пирожное*. Если говорить о стилистической дифференциации интерфиксальных образований, то можно указать здесь следующие типы по стилистической окраске:

- а) образования с «книжным» интерфиксом *-j-*:
жалюзийный, *травестийный*, *релейный*;
- б) образования с «нейтральными» интерфиксами *-ов-*, *-ин-*:
майбридовский, *буденновка*, *читинский*, *сочинский*;
- в) образования с «просторечным» интерфиксом *-ш-*: см. вышеприведенные примеры.

О широком использовании интерфикса *-ш-* в разговорной речи свидетельствует наличие большого количества стилистически «сниженных» производных с этим интерфиксом. Все образования с *-ш-* имеют ярко выраженную эмоционально-экспрессивную окраску и показывают положительное или отрицательное отношение говорящего к высказыванию (ср.: *нюшка*, *киношка*, *кафешка*).

II

О происхождении интерфикса *-j-* существует несколько предположений. З. А. Потиха считает, что *-j-* в прилагательных от несклоняемых заимствованных существительных появился по

²² Используются факты разговорной речи 60-х годов XX в., приводимые в социолого-лингвистическом исследовании «Русский язык и советское общество». М., 1968.

аналогии к прилагательным типа *литейный, ружейный, семейный*.²³ Эта мысль представляется необоснованной, так как между словообразовательными типами «*литье* → *литейный*» и «*кофе* → *кофейный*» нет ни семантических, ни формальных параллелей. А как известно, для признания какого-либо соотношения слов словообразовательным типом необходимы лексико-грамматическое единство производящих основ, тождество формально-семантических отношений между мотивирующим и мотивированным словом и общий словообразовательный формант.

Более правильным представляется предположение Н. А. Еськовой о происхождении интерфикса *-j-*, которое она связывает с наличием у существительных типа *кофе, филе, желе*, параллельных форм с *-j-*: *кофей, филей, желей*, существовавших в языке XIX века.²⁴

Можно предположить, что интерфикс *-j-*, оформляющий в русском языке прилагательные, образованные от несклоняемых заимствованных существительных, оканчивающихся гласными, восходит к финали слова *чай*. Подобное допущение может основываться на том факте, что слово *кофе*, которое является в русском языке родоначальником структурно-семантического ряда прилагательных, упомянутого выше, получило элемент *-j-* по аналогии к слову *чай*.

В Европу чай проник поздно: португальские мореплаватели доставили его из Китая в 1517 году. В Россию первые сведения о чае были привезены казачьими атаманами Петровым и Ялышевым, побывавшими в Китае в 1567 году.²⁵ Брудон и Михельсон в своем «Словотолкователе» отмечают, что в Европе чай — «ежедневный напиток с 1670 года».²⁶

Известны ранние фиксации слова *чай*:²⁷
чай пить (Смутное время Московского государства 1604—1613 гг., вып. 3. Акты времени междуцарствия (1610—1613). Чтения ОИДР, 1915).

да чаю пять гривенъхъ (1638 г. Дополнения к Актам историческим, собр. и изд. Археографической комиссией, т. I—XII, СПб., 1846—1872 г.);

производные от слова *чай*:

Лакованные чайные и кофейные доски (Торговый устав 1724 г.)
60 чашек чайных (Книга записная Макарьевской ярмонки боль-

²³ См. З. А. Потиха. Современное русское словообразование. М., 1970, с. 36.

²⁴ См. Н. А. Еськова. Фонема *-j-* в современном русском литературном языке. — Уч. зап. МГПИ им. Потемкина, т. XLII, 1957.

²⁵ См.: Чаеводство. М., 1960, с. 16.

²⁶ И. Ф. Брудон, А. Д. Михельсон. Объяснительный словарь 115000 иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке, с означением их корней. 1885, с. 1020.

²⁷ Весь материал, приводимый здесь и далее, извлечен из картотеки Древнерусского словаря XI—XVII вв., хранящейся в Институте русского языка АН СССР (сохраняются сокращения, принятые в картотеке).

шой таможни по Сибирским отпускным выписям I пол. 1724 г. — Временник ОИДР, 1849, кн. 2)
золотой чайник (Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря имп. Екатерины Второй. — Чтения ОИДР, 1862, кн. 2)

К тому времени, как русским языком было заимствовано слово *кофе*, слово *чай* уже было полностью освоено русским языком и имело большое словообразовательное гнездо.

Интернациональное название напитка *кофе* восходит к арабскому *qahwa*. В России кофе стал известен в середине XVII века. Первая из известных нам фиксаций относится к 1649 году: «И яства снесли и паки пили кофе с сахаром.» — Арс. Суханов. Проскинитарий, 1649—1658 г., с. 60.

Появление в русском языке слова *кофе* неверно относят к Петровской эпохе²⁸, тогда как в то время кофе был уже довольно распространенным напитком, ср. следующие примеры: ... чаю и кофе здЕсь зело мала (1700 г. — Письма и бумаги Петра Великого, т. I, СПб., 1887).

... о кофиц (Торг. уст. 1724 г.)

... кофь или кафе есть турецкое питье ...; кофе на сковороде жець, токмо умЕренно, чтобъ оной не перегорЕлъ (Флоринова Экономия, изд. 3, СПб., 1775).

... от насморку кофе зженое смешай с сахаром нюхать (Лечебник (№ 1). Рукопись из собрания В. Н. Перетца, к. XVII — н. XVIII в.).

Относительно рода слова *кофе* в русском языке существует несколько мнений. Среди употребляемых в русском языке иноязычных несклоняемых существительных (нарицательных неодушевленных) слово *кофе*, пожалуй, единственное слово мужского рода, тогда как все остальные слова этого типа принадлежат к среднему роду: *кашине, такси, метро* и т. п. Такое исключение из правила о родовой принадлежности несклоняемых существительных на гласный объясняется своеобразной историей слова *кофе*. Б. А. Маргарьян считает, что русское *кофе* стало существительным мужского рода по аналогии к немецкому *der Koffe* (из английского *coffee*)²⁹. Такое объяснение кажется маловероятным. Принято считать, что слово *кофе* заимствовано в русский язык из голландского *koffie* (= *kofi*)³⁰. Трудно решить, почему здесь идет речь о немецком влиянии, тем более, что автор не представляет к этому никаких доказательств.

²⁸ См. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 2, с. 355.

²⁹ См. Б. А. Маргарьян. История слова кофе. — «Русская речь», 1972, № 2, с. 59.

³⁰ М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, т. 2, с. 355; Н. М. Шанский и др. Краткий этимологический словарь русского языка, с. 165.

Д. Э. Розенталь объясняет принадлежность слова *кофе* к мужскому роду его связью с более старой формой *кофей*.³¹ С этим не соглашается В. С. Гимпелевич, который совершенно справедливо указывает, что форма *кофей* не является в русском языке более старой: в словарях раньше была отмечена форма *кофе* (Лексикон российский и французский, 1762), а *кофей* появляется только в «Словаре Академии Российской» (1792).³²

Но В. С. Гимпелевич расходится с точкой зрения Д. Э. Розенталя только в отношении хронологии, а суть дела остается той же — слово *кофе* стало употребляться после колебаний от среднего рода к мужскому в мужском роде по аналогии к слову *кофий*. В XVIII веке формы *кофе* и *кофий* сосуществовали как дублиеты, совершенно равноправные в стилистическом отношении. В. С. Гимпелевич пишет: «Естественно такое равноправие не допускало расхождения этих форм в роде, и *кофе* закрепилось в языке как слово того же рода, что и *кофей*.»³³ Этот факт можно рассматривать как свидетельство большей «авторитетности» в языке формы *кофий*, хотя и возникшей позже, чем *кофе*, но осознаваемой как вполне русское слово, более свойственное грамматической системе русского языка, нежели форма *кофе*. Согласно действовавшей в русском языке тенденции приспособить иноязычные слова к своей грамматической системе, слово *кофе* стало употребляться в форме *кофе́й* (-ий), «подогнанной» к уже привычному слову *чай*. Между этими двумя словами с самого начала употребления в языке слова *кофе* возникла тесная ассоциация, свидетельствующая о стремлении сознания говорящих связать и уподобить новую, незнакомую реалию с уже знакомой и привычной. Ср. свидетельства этой ассоциации:

Чай — кофе (Из архива кн. Куракина. Дневник 1705 г.)

чаем — кофием (Невидимка. Российские сочинения М. К[омарова], М., 1789)

чаем — кофеем (Е. В. Барсов. Причитанья Северного края. Ч. I, Пб.—М., 1872—1882)

чаем — кофием поил (А. И. Соболевский. Великорусские песни. СПб., 1895)

чаю — кофею купилъ (Псковские песни, собранные и записанные И. К. Копаневичем. Псков, 1907)

Словообразовательное гнездо слова *кофе* дублировало гнездо слова *чай*:

чай — кофей (-ий)

чайный — кофейный

³¹ Д. Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка. М., 1968, с. 85.

³² В. С. Гимпелевич. О роде слова *кофе*. — «Русская речь», 1972, № 2, с. 60.

³³ Там же, с. 62.

чайничек — кофейничек

чайница — кофейница (о любителях чая, кофе; кофейница — также гадалка на кофейной гуще)

чайёк — кофейёк

чайник — кофейник

Производные от слова *кофе* оформляются элементом *-j-*, восходящим к финали слова *чай* через посредство формы *кофей*:

въ седьмой день гуляли по городу и въ кофейномъ домЕ на шпагах бились (1709 г. Походный журнал 1695—1726 гг. СПб., 1853—1855)

кофейную окраску (Сукн. Дв., 1746)

изъ кофейныхъ домовъ (Проект прав среднего рода жителей, 1770 г.)

А сЕрая и другая шерсть въ кофейной, черной и другие темные цвЕты красится (Флоринова Економия, 1775)

кофейник (Флоринова Економия, 1775)

кофейнаго пару (Флоринова Економия, 1775)

Наварите болЕе кофею и пошлите скорЕе за кофейницею (Страхов. Карманная книга для приезжающих на зиму в Москву стариков и старушек, невест и женихов. Ч. I. М., 1791).

Когда закрепились несклоняемость слова *кофе*, словообразовательное гнездо его, как и род, остались прежними. Более поздние заимствования типа *филе*, *желе*, *купе*, *пике*, в фонетическом и морфологическом плане сходные со словом *кофе*, оформляли свои дериваты по типу этого слова. Таким образом, интерфикс *-j-* в прилагательных от несклоняемых заимствованных слов восходит к финали слова *чай*.

Структурно-семантический ряд названий продуктов, родоначальником которого является слово *кофе*, — открытый ряд, особенно активно пополняющийся в настоящее время. Многие из новых образований создаются в профессионально-терминологической сфере:

филе — филейный (Гейм, 1802)

желе — железный (САН, 1847)

безе — безейный

суфле — суфлейный (к. 50-х — н. 60-х гг. XX века)

драже — дражейный

Характерно замечание Н. А. Еськовой о действии аналогии в таких образованиях: «...если понадобится, от *пюре* мы образуем *пюрейный*, от *кюре* — *кюрейский*, от *канале* — *каналейный*». ³⁴

В современном словообразовании интерфикс *-j-* становится все более активным. Если в языке к. XIX — нач. XX века образования от несклоняемых слов с помощью *-j-* были очень малочисленны:

³⁴ Н. А. Еськова. Фонема *-j-* в современном русском литературном языке, с. 71.

шоссейный (САН, 1847)

пикейный (СД)

и окказионализмы А. Белого — «пенснейное стекло» (в «Первом свидании») и В. Маяковского — «кафейная жизнь» и «кафейные двери», то уже с середины нашего века количество таких образований явно возрастает:

релейный (СУ, 1939)

сотейник (СУ, 1940)

купейный (СО)

травестийный

жалюзийный

фойейный

регбийный

Производные от названий национальностей образуются по той же модели:

адыге — адыгеец, адыгейка

манси — мансийский, мансиец

мари — мариец, марийка, марийский

удэге — удэгеец, удэгейка

ханты — хантыец, хантыйка

Особенно много производных образуется по этой модели в самые последние годы: такси — таксийный; карэ — карэйный; шоссе — шоссейник; тори — торийский (например, торийская партия, торийцы).³⁵

С помощью интерфикса *-j-* образуются многочисленные прилагательные от иноязычных топонимов, ср.: Гори — горийский; Потти — поттийский; Чили — чилийский; Чу — чуйский; Сорренто — соррентийский; Токио — токийский, а также от аббревиатур: ИМЛИ — имлийский; ИРЛИ — ирлийский; ИФЛИ — ифлийский.

При рассмотрении интерфиксации в славянских языках обнаруживается параллель интерфиксной модели с *-j-* в польском языке. Интерфикс *-j-* используется, как и в русском языке, для образования прилагательных от основ, оканчивающихся на гласную фонему, с помощью суффикса, который начинается согласной фонемой. А. Сечковский называет его «расширителем» простого суффикса, «добавочным элементом, который не выступает как самостоятельный суффикс».³⁶ В польском языке интерфикс *-j-* употребителен в моделях образования прилагательных от иноязычных топонимов и собственных имен. Например: *aeryjski, chilijski, dantejski, jenajski, jurajski*.³⁷

³⁵ Используются данные социолого-лингвистического исследования «Русский язык и советское общество», с. 45.

³⁶ См. А. Siczkowski. *Struktura...*, с. 20.

³⁷ *Zeszyt próbny Indexu Słowotwórczego do Słownika Języka Polskiego* pod red. W. Doroszewskiego. Warszawa, 1963.

Итак, если финальную слова является гласная фонема и при деривации суффикс начинается согласной фонемой, то функцию соединения морфем в таких случаях наиболее часто выполняют интерфиксы *-j-* и *-ш-*. Не имея самостоятельного значения и выступая в качестве строевых, «технических» элементов языка, они вовлекают в словопроизводство несклоняемые существительные и устраняют необычность для русского языка их основ, оканчивающихся на гласные.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

I. Памятники письменности

Глаг. ев. Викт. IV — Глаголическое евангелие Викт. IV
Гр. Вас. Дм. — Грамота Василия Дмитриевича 1392 г.
Гр. Наз. XI в. — XIII слов св. Григория Богослова XI в.
Императорской публ. библ.

Ефр. крм. — Кормчая книга Ефремовская, написанная ок. 1100 г.

Жал. гр. Бл. мон. 1473—1478 гг. — Жалованная грамота Белозерского монастыря.

Златостр. XII в. — Златоструй по сп. Имп. публ. библ. XII в.

Изб. Свят. — Изборник Святославов, написанный диаком Иоанном в 1073 году.

Ю. ЛЕств. 1647 — ЛЕствица пр. Иоанна Синайского.

Ис. Сир. XVI в. — Поучение Исаака Сирина XVI в. по сп. Моск. синод. библ.

Исх. посп. XIV в.; Лев., Чис. — Книга Исход, Левит, Числа по сп. Троицко-Сергиевой лавры XIV в.

Клоц. — Клоцов сборник глаголических текстов, относимых ориентировочно к X в.

Крм. 1262 г. — Кормчая книга 1262 г.

Мих. XI в. — Толкования на книгу пророка Михея по сп. с рук. Упыря Лихого, 1047 г.

От. Ио. Син. гор., XIV в. — Отец Иоанн Синайской горы, XIV в.

Остр. ев. — Остромирово евангелие (1056—1057 гг.).

Панд. Ант. XI в. — Пандект Антиоха по сп. XI в.

Пат. Шаф. — Патерикон Шафарика XVI в.

Посл. м. Фот. Пск. — Послание митрополита Фотия Псковского 1410—1417 гг.

Поуч. Вс. Хр. — Поучения всем христианам. Макарий. История русской церкви, т. V.

Прав. гр. Ферап. мон. ок. 1490 г. — Правая грамота Ферапонтову монастырю ок. 1490 г.

Прол. март. — Пролог мартовской половины года. Моск. синод. библ. 1400 г.

Ряд. зап. — Рядная заповедь 1568 г.
Сб. 1076 — Сборник Святослава 1076 года.
Син. Пат. — Патерик Синайский XI в.
Супр. рук. — Супрасльская рукопись.

II. Словари

Вейсм. Лекс. — Вейсманнов немецко-латинский и русский лексикон. СПб., 1731.

Гейм — И. Гейм. Новый российско-французско-немецкий словарь. Т. I—III. М., 1802.

Оп. обл. сл. АН — Опыт областного великорусского словаря. Изд. ИАН. СПб., 1852.

Поликарпов. Лекс. — Ф. Поликарпов. Лексион треязычный, сиречь речений славянских, еллиногреческих и латинских сокровище. М., 1704.

САН — Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением АН. Т. I—IV. СПб., 1847.

СВ — Словарь церковно-славянского языка, составленный А. Х. Востоковым. Т. I—II. СПб., 1858—1861.

СД — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 4-е. Т. I—IV. СПб., 1912.

СМ — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I—III. СПб., 1893—1911.

СО — Словарь русского языка. Составил С. И. Ожегов. Изд. 6-е. М., 1964.

СУ — Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова. Т. I—IV. М., 1935—1940.

РЯСО — Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка. М., 1968.

ОТРАЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННЫХ РЕДУЦИРОВАННЫХ ГЛАСНЫХ В УСПЕНСКОМ СБОРНИКЕ

Ю. С. Кудрявцев

Успенский сборник¹ — одна из самых больших и интересных в лингвистическом отношении древнерусских рукописей. Она датируется приблизительно XII—XIII вв. Ценность Успенского сборника как лингвистического источника определяется многослойностью рукописи. Здесь представлены тексты как южнославянского, так и древнерусского происхождения. Сборник содержит 2 основных почерка, причем граница их проходит внутри самой большой из русских статей — внутри Жития Феодосия Печерского (расположенного на листах 26а—678). I почерк обнимает собой листы 1а—46г, II почерк — 46г—304б, т. е. продолжается до конца рукописи. Таким образом, весь сборник распадается на 4 части, сравнение правописания которых небезынтересно в плане раскрытия орфографических закономерностей древнеславянского письма. В частности, Успенский сборник содержит интересные орфографические явления, проливающие некоторый свет на судьбу редуцированных гласных в древнерусском языке. Мы попытаемся дать истолкование этим явлениям.

Современное языкознание предъявляет к историко-фонетическому исследованию требование системности. Подход фонетический, т. е. акустико-артикуляционный, заменяется подходом фонологическим, т. е. функциональным. Фонология, как функциональная фонетика, дает возможность оценить любой факт с точки зрения того, какую роль он играет в системе языка — как на собственно дистриктивном уровне, так и в его межъязыковых связях. Актуальной становится задача выявления на каждом временном срезе собственной, только ему присущей системы фонем и постановка любого выявленного или реконструированного факта в эту систему.² Другой стороной проявления

¹ «Успенский сборник XII—XIII вв.» М., 1971.

² Реализацию этого принципа находим, напр., в монографии: В. В. Иванов. Историческая фонология русского языка. М., 1968.

идеи системности является требование системности сравнительно-исторических реконструкций. Из двух равно вероятных реконструкций предпочтительнее та, которая обнаруживает существенное подобие исследуемого явления с уже хорошо известным.

В применении к исследованию памятников идея системности проявляется в установлении графической и орфографической системы рукописи. Место сравнения изолированных написаний занимает ныне сравнение целых графико-орфографических систем. Методический переход от написания к реконструируемому произношению совершается не непосредственно, а через сопоставление системы правописания с гипотетической системой фонем. Понятия теории орфографии (фонетические, морфологические, традиционные написания) помогают по-новому взглянуть на давно известные факты.

При этом возникает одна терминологическая трудность. «Орфография» означает «правильное написание». Что, однако, считать правильным для древнерусской письменности, неясно. Кодификация нормы тогда отсутствовала. Поэтому часто говорят об орфографическом навыке писца, подразумевая большую или меньшую последовательность написаний в одной рукописи. Но такая последовательность — не обязательно результат выучки, она может быть продуктом личного творчества писца. Вопреки этимологии, мы вынуждены говорить здесь об индивидуальной «орфографии». Ощущается лакуна в терминологической системе: отсутствие термина, позволяющего различать, с одной стороны, последовательное и последовательное («ошибка») написание, с другой стороны, орфографическое правило и индивидуальный навык пишущего. Следует заметить, что средний член противопоставления (последовательно выраженный индивидуальный навык) вовсе не обязательно прямо соотносится с фонетическим явлением. Он представляет собой факт графико-орфографической системы данной рукописи и должен быть рассмотрен сначала как таковой, прежде чем ему будет дана фонетическая интерпретация.

I почерк Успенского сборника широко отражает переход *ь, ѣ > и, ы* в глагольных окончаниях (3-е лицо спрягаемых форм; причастия) перед [j] указательного местоимения: *поноудати* и 10б; *начаты* и 12г; *скроушити* и 19а; *въдасти* и 21а; *пѣхашети* и 28г; *видѣвы* и 30б; *пооушашети* и 30в; *видѣхомы* и 31г; *молихы* и 32в; *моляшети* и 34в; *проважахоути* и 35а; *любляхоути* и 36в; *имАхоути* и 36в; *облечашети* и 37г; *цскоушашети* и 37г; *остригы* и 37г; *оболочашети* и 37г; *сподобашети* и 37г; *обличашети* и 39а; *наричюти* и 41б; *моляшети* и 41г; 44в; *любляшети* и 41г; *видевы* и 42б, 43б; *емы* и 43в; *вдѣчахоути* и 44б; *прекрѣтивы* и 44в; *слышашети* и 45в; *сѣповѣдахоути* и 45г.

Чаще встречается эта конструкция в Житии Феодосия Печерского, русском по происхождению (стлб. 26а — до конца почерка). В этих листах сборника орфографическое правило перехода *ь, ѣ > и, ы* глагольных финалей перед [j] указательного местоимения не знает исключений. В других статьях, написанных тем же почерком, имеются два написания: *поразиль и есмь* 21в; *(от)крыхъ и* 2б, свидетельствующие об орфографической неоднородности оригиналов и копии, каковой является Успенский сборник. Заметим, что переход *ь, ѣ > и, ы* не имеет места перед союзом *и*, например: *доуша ми съмыслъ съмоуцаеть и не вѣмъ къ кому обратити сѧ* (9б—9в). Это, наряду с наличием написаний типа *поганѣи* 8в, *оуныльи* 10б, как будто указывает на то, что в вышеприведенных примерах имеет место действительно влияние [j] на предшествующий гласный, а не простая ассимиляция гласных соседних слогов. Впрочем, ни примеры с союзом *и*, ни формы полных прилагательных и причастий, переданные с флексивным *ъ*, не встречаются в тексте Жития Феодосия, где интересующая нас орфографическая закономерность проявляется особенно ярко.

Поразительная черта I почерка Успенского сборника заключается в том, что [j] других форм указательного местоимения (не в. п. ед. ч. м. и ср. р.) не оказывает аналогичного воздействия на предшествующий редуцированный: *поялъ ю* 8в; *хотять яго* 13г; *почитающимъ я* 33б и др. Это может иметь двойное объяснение: а) написания типа *начаты и* отражают межслоговую ассимиляцию гласных; б) в этих написаниях отражен переход сильных редуцированных в гласные полного образования.

Первый тезис встречает одно принципиальное возражение. До падения редуцированных фонетическая структура местоимения и выглядит так: [ji]. Гласный [i] не может переводить соседний гласный в верхний ряд, т. к. этот признак для него самого иррелевантен (вызван соседством йота). Ассимиляция происходит лишь по релевантному признаку («четвертый закон Стеблин—Каменского»^{2а}). После же падения редуцированных, когда фонетическая структура местоимения изменяется: [ji] > [jī], конечный гласный предыдущего слова уже не существует. Т. о., ассимиляция в этом случае логически невозможна.

Разберем подробнее второй тезис. До падения редуцированных написания типа *поюлъ ю* скрывают следующую фонетическую реальность: [-lŷ·ju]. Редуцированный здесь в слабой позиции, он утрачивается в результате падения: [-lŷ·ju] > [-l·ju]. Буква *ъ* продолжает сохраняться на письме как знак конца слова и твердости предшествующего согласного. Иначе обстоит

^{2а} М. И. Стеблин—Каменский. К теории звуковых изменений. ВЯ, 1966, № 2, стр. 79.

дело в случае типа *начаты и*. Фонетически здесь до падения редуцированных картина была такой: [-tŭ-jĭ]. Местоимение представляет собой энклитику, редуцированный в нем в слабой позиции, следовательно, редуцированный глагольной формы находится в сильной позиции и должен проясниться в результате падения редуцированных: [-tŭ-jĭ] > [-tu-j]. Единственная возможность графической записи этого рефлекса — именно та, которую мы встречаем в Житии Феодосия и вообще в I почерке Успенского сборника: *начаты и*, где *и* выступает как обозначение [j]. Если бы в говоре писца падение редуцированных еще не произошло, он должен был бы отразить на письме напряженные редуцированные и в других случаях, т. е. писать не только *начаты и*, но и **поалы ю*, *хотати его* и т. д. Можно показать, что такая трактовка отвечает общей характеристике почерка, несущего следы падения редуцированных и в других условиях.

На последнем надо остановиться особо, т. к. существует и другое мнение. Автор вступительной статьи к изданию Успенского сборника пишет: «Написаний, свидетельствующих о падении редуцированных, встретилось (в памятнике — Ю. К.) сравнительно немного»³. И далее приводится 15 примеров подобного рода. На 304 листа большого формата это, действительно, немного. На самом деле, вопреки мнению О. А. Князевской, процесс падения редуцированных очень широко отражен в памятнике в определенных позициях. Речь идет о морфологически изолированных, или «абсолютно слабых» и «абсолютно сильных» редуцированных.⁴ Приведем примеры. Слово *кѣназь* встречается в Успенском сборнике без редуцированного 83 раза, в том числе в I почерке 43 раза; из них в Житии Феодосия 36 раз (в том числе в пределах I почерка — 20 раз). В других случаях редуцированный в этом слове сохраняется (19 раз). Дело тут, следовательно, не в особом правописании этого слова, а в том, что оно по ряду причин раньше других отражает на письме общий фонетический процесс. Аналогично 24 раза пропускается *ъ* в корне *-къто* (случаи с паерком не считаем); и здесь преимущественно отражает падение редуцированных I почерк (19 случаев написания без *ъ*). Приведем пример на абсолютно сильную позицию редуцированного: в корне *шьд* — в бесприставочных образованиях 17 раз пишется *е* (*ь* — 53 раза). Здесь все случаи написания *шьд* — приходятся на I почерк. Аналогичная картина наблюдается и в приставочных образованиях с этим корнем.

³ Князевская О. А. Успенский сборник конца XII — начала XIII в. — В кн.: Успенский сборник XII—XIII вв., М., 1971, стр. 25.

⁴ См.: И. А. Фалев. О редуцированных гласных в древнерусском языке. — В сб.: Язык и литература. II, вып. I, Л., 1927, стр. 111—122; О. В. Малкова. К уточнению времени написания Типографского евангелия № 6 (7): В сб.: Восточнославянские языки. Источники для изучения. М., 1973, стр. 147 и след.

Сплошная выборка по первым 20 листам текста дает следующие случаи отражения падения редуцированных: *сде* 1а; *дѣшедѣ* 1в; *шедѣ* 2б; *пришедѣ* 2б, 3г—4а, 5а; *смокъви* 2г, 4в; *никто* 3а; *что* 3а (и еще 6 случаев); *послати* 3а (рядом *посѣлати* 3а); *мною* 3в (рядом *къ мѣнѣ* 3б); *всякъ* 3г; *вси* 4а (и еще 6 случаев); *сѣбра* 4а; *пришедѣшемъ* 4г; *мняще* 5а; *всю* 5а (и еще 7 случаев); *отъ раснѣ матерѣ* 8в; *по роснамъ землямъ* 8г; *скровище* 17б, 18г; *вѣком* 18а; *мняхоу* 18г; *все* 10а (и еще 7 случаев); *всемъ* 19а; *князѣ* 19б; *князь* 19б (и еще 5 случаев); *всенощное* 19б; *кнѣзю/князю* 19г (и еще 5 случаев); *всю* 20а; *всею* 20а (рядом *всье*); *многѣмъ* 20а; *вѣми* 20б; *блговѣрнии* 20б; *вѣхъ* 20б; *много* 20б; *всеволодъ* 20в.

В общем, картина такая же, как в других древнерусских памятниках раннего периода⁵ (за исключением немногих, например, Путятиной минеи): по традиции сохраняются *ѣ* и *ь* в написании, но живое произношение постоянно пробивается из-под слоя традиционных еров (в тех случаях, когда это позволяет орфографическая система).

Принято считать, что исчезновение редуцированных на письме в «абсолютно слабой» и замена их на *е*, *о* в «абсолютно сильной» позиции отражают особые звуковые изменения в этих позициях, предшествовавшие общему процессу падения редуцированных. Между тем следует обратить внимание на то, что соответствующие написания представляют собой, по сути дела, написания с «непроверяемыми гласными». Во всех формах слова *кѣнѣзь* редуцированный утратился; во всех формах, где выступает корень *-шьд-*, редуцированный перешел в *е* (*-шедѣ*, *-шедѣше* и т. д.) Если орфограммы с редуцированными в других случаях поддерживаются наличием чередования *ѣ||о*, *е*, то в морфологически изолированной позиции естественно раннее исчезновение букв *ѣ*, *ь* из письма.

По-видимому, принцип древнерусской орфографии по отношению к написанию *ѣ*, *ь* был морфологическим (или, точнее, морфологическим на традиционной основе). Сакральность текста требовала точности в передаче оригинала, в т. ч. сохранения его графических и орфографических особенностей. Основа любой средневековой орфографии — традиционная. Реальная же изменчивость языка приводила в одних случаях к фонетическим написаниям, в других — к созданию особых правил морфологического характера, поддерживавших и в то же время ограничивавших принцип традиционности. Так обстояло дело с ерами. «Правильное» написание устанавливалось благодаря наличию чередований. Здесь морфология поддерживала традицию. Когда чередования *ѣ||о*, *е* отсутствовали, писец, как видим, нередко отступал от традиционных в пользу фонетических

⁵ См. указанную работу И. А. Фалева, где приведен большой материал.

написаний. Здесь морфологический принцип не мог помочь («гласные не проверяются») и, следовательно, невольно ограничивал влияние традиции.

Такая трактовка древнерусской орфографии заставляет отодвинуть время падения редуцированных непосредственно в XI в. (ср. написания без *ъ*, *ь* уже в Архангельском евангелии 1092 г.) и признать, что этот процесс проходил одновременно во всех позициях. Последнее более соответствует современным представлениям о механизме и причинах падения редуцированных, возникшим в результате исследования В. М. Марковым⁶ языка Путятиной минеи. По В. М. Маркову, причина падения редуцированных — их функциональная ненагруженность, возникшая вследствие последовательного проведения тенденции «идеального слога».⁷ Последнее ее проявление — возникновение «неорганических глухих», обозначаемых в Путятиной минее перерками.

В фонологической системе, где все слоги имеют структуру *С + Г*, по крайней мере один гласный избыточен и может быть без ущерба для различения слов заменен фонологическим нулем. В древнерусском языке таких гласных было даже два (*/ъ/* и */ь/*), т. к. различавший их признак принадлежал всему слогу (силлабеме) и мог функционально заместиться признаком «твердость—мягкость» согласных. Падение редуцированных сначала происходило функционально, фонологически, и лишь потом — фонетически. Благодаря морфологическому принципу древнерусской орфографии написания с редуцированными сохранялись в массе своей несколько веков. Наш памятник свидетельствует, однако, что на периферии орфографической системы в отдельных школах писцов могли рано вырабатываться другие навыки правописания. В тексте I почерка Успенского сборника для написания глагольных окончаний перед местоимением и действует фонетический принцип. Периферийность этого участка системы выражается в следующем: 1) здесь речь идет о графической передаче не просто редуцированных, а напряженных редуцированных (точнее, их рефлексов), которые в потоке речи встречались значительно реже; 2) сочетание **глагольная форма + местоимение и (вин. п.)**, особо частое в Житии Феодосия в пределах I почерка, во II почерке встречается довольно редко; по-видимому, текст II почерка лучше отражает обычную редкость таких конструкций; 3) I почерк отражает древнерусский говор, в котором [*ŷ*, *ĩ*] > [*u*, *i*]; иначе в северных диалектах, легших в основу русского языка (здесь [*ŷ*, *ĩ*] > [*o*, *e*]).

⁶ В. М. Марков. К истории редуцированных гласных в русском языке, Казань, 1964; см. также рецензию Ф. П. Филина на эту работу в — ВЯ, 1965, № 4.

⁷ По удачному выражению Г. И. Климовской в ее кн.: Историческая фонетика старославянского языка, Томск, 1975.

Итак, I почерк Успенского сборника свидетельствует: а) о падении редуцированных в говоре писца (то же можно сказать о втором почерке, хотя в нем традиционная система орфографии сохранена значительно лучше); б) о том, что говор писца принадлежал южной диалектной зоне, где напряженные редуцированные переходили в [у, і] полного образования. Последнее подтверждает давние наблюдения А. А. Шахматова и И. В. Ягича.⁸

Что касается II почерка Успенского сборника, то в нем интересующая нас конструкция встречается относительно редко (64 раза на более чем 250 л. почерка; ср.: 32 раза на 46 л. I почерка). Приведем все примеры с *ы*, *и*: *вѣдавы и* 95б; *приимы и* 107б; *видѣвы и* 111а; *призѣвавы и* 126б; *прекрѣстивы и* 147а (всего 5 случаев).

Спорадические написания такого рода носят фонетический характер, но не представляют (в отличие от I почерка) орфографического правила. В целом писец придерживается написаний оригинала. Это особенно очевидно там, где писец обозначает напряженный редуцированный в сильном положении через буквы *ѣ*, *ѥ*: *тѣи* (м. р., им. п.) 75г; *стрѣя* 130а, 130г, 135в; *стрѣю* 140г; *сѣи* 155а; *трѣя* 161а; *слажѣи* 290г; *трѣюкая не* 298в; *стрѣяви* 300а; *стрѣя* 300б, 300г, 301а, 302г (2); *стрѣи* 300б, 302б; *прѣставѣи* 262в; *постѣи* 262в⁹. В некоторых из этих написаний можно видеть проявление морфологического принципа, но большинство обязано своим появлением в Успенском сборнике оригиналу.

⁸ См.: А. Schachmatow. Beiträge zur russischen Grammatik, Afsl Ph, Bd VII, N. 1, 1883, S. 73; И. В. Ягич. Критические заметки по истории русского языка. — «Сб. ОРЯС», т. 46, № 4, 1889, с. 13.

⁹ См. коррекцию Н. А. Мещерского в: [реп.] «Успенский сборник XII—XIII вв.», ИАН. СЛЯ, т. XXXI, № 4, с. 379. Аналогичная поправка требуется, видимо, и в следующем примере. В издании оба случая напечатаны в два слова.

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ПЕРЕВОДОМ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ НА ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК

Э. А. Вайгла

В настоящей статье мы рассматриваем способы и возможности перевода на эстонский язык русских фразеологических оборотов, в том числе их индивидуально-авторских модификаций. Анализируется перевод фразеологии рассказов А. П. Чехова, романа М. Шолохова «Поднятая целина», романов И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.¹

Разумеется, анализ ограниченного числа произведений не может претендовать на широкие выводы (не входит в наши задачи и оценка переводов в целом), но думается, что основные закономерности и проблемы перевода русских фразеологических оборотов на эстонский язык должны были найти отражение в этих переводах произведений, в которых фразеология играет весьма важную роль в качестве одного из элементов своеобразного авторского стиля.

Адекватный перевод, как известно, предполагает, кроме передачи предметно-логического значения, также сохранение стилистической окраски, экспрессивных и эмоциональных моментов подлинника (предметно-логическое же значение всегда легче всего может быть передано средствами любого другого языка). Применительно к переводу фразеологии эти вопросы предельно четко поставлены в работе В. М. Аврасина и Л. С. Бендаржевской (1). Особого внимания и творческого подхода, как правило, требуют от переводчика индивидуально-авторские модификации фразеологических оборотов. Все это ставит перед переводчиками подчас весьма сложные задачи; более того, тождественный по значению оборот может в переводящем языке

¹ В статье частично использованы материалы дипломных работ выпускниц отделения русской филологии ТГУ Л. Пинс («Поднятая целина» М. Шолохова) и Т. Поповой (рассказы А. П. Чехова), выполненных на кафедре русского языка ТГУ.

(ПЯ) ² вообще отсутствовать (т. н. безэквивалентные фразеологизмы).

Начнем наш анализ с простейшего случая, когда фразеологизмы исходного языка (ИЯ) переводятся на эстонский язык посредством фразеологизмов тождественной образной структуры, называемых традиционно фразеологическими эквивалентами.³ Фразеологические эквиваленты в свою очередь делятся на т. н. полные и частичные эквиваленты; в первом случае наблюдается полное совпадение плана выражения фразеологизмов (как лексического состава, так и грамматической структуры), что делает возможным «дословный перевод»; во втором случае имеются расхождения в лексическом составе или грамматическом оформлении оборота (учитываются различия, не относящиеся к регулярным межъязыковым соответствиям для рассматриваемой пары языков).

Приведем примеры полных эквивалентов ⁴.

«... так и *вогнал в могилу* через год» (Ш-2, 64).

«... *ja ajas põnnamoodi aasta pärast hauda*» (435).

«... *совать свой нос* не в свое дело...» (Ч-6, 127).

«... *ota nina võbrastesse asjadesse toppida*...» (4, 181)

«... от нашей цивилизации давно *бы уже не осталось камня на камне*...» (Ч-7, 398)

«... *poleks meie tsivilisatsioonist ammu juba kivi kivi peale jäänud*...» (5, 397)

«*Под счастливой звездой* родился критик Латунский...» (Б-2, 67)

«... *oli sündinud õnneliku tähe all*...» (225)

«Ты, голубка, пока что *держи язык за зубами*» (12, 259).

«*Sa, tuvike, hoia esialgu keel hammaste taga*» (252).

«... все как на ладони видно...» (Ч-3, 404)

«... *kõik on nagu pihu peal*...» (2, 17)

«*Нет худа без добра*...» (Ч-4, 290)

«*Ei ole raha ilma heata*...» (3, 8)

«*У страха глаза велики*» (Ч-4, 365).

«*Hirmul on suured silmad*» (3, 78).

² Термины исходный язык и переводящий язык, как и соответствующие сокращения (ИЯ и ПЯ) предложены Л. С. Бархударовым (2, 9).

³ Следует отметить, что рассматривается перевод т. н. «бесспорной» фразеологии (семантически неразложимых единиц), а также пословиц и поговорок. Именно эти категории устойчивых единиц — богатейший стилистический материал в руках художника слова.

⁴ Принятые сокращения: Б-1 и Б-2 — Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита», соответственно первая или вторая книга; 12 — И. Ильф и Е. Петров, «Двенадцать стульев»; 3т — И. Ильф и Е. Петров, «Золотой теленок»; Ш-1 и Ш-2 — Михаил Шолохов, «Поднятая целина», соответственно первая или вторая книга; Ч-1, Ч-2, Ч-3 и т. д. — соответствующий том сочинений А. П. Чехова. Издания, по которым приводятся цитаты, указаны в библиографии. Страницы даются через запятую. Страницы текстов на эстонском языке приводятся после цитаты в скобках; издания также указываются в библиографии. Курсив в примерах наш.

Частичные эквиваленты являются как бы межъязыковыми вариантами фразеологизмов: при тождественной образной структуре варьируется вербальная структура. Конкретнее: а) может варьироваться лексическая сторона оборота, б) возможны различия в грамматической структуре, в) наблюдаются одновременно и лексические, и грамматические расхождения, приводящие иногда к более сложным модификациям словесной оболочки оборота.

Примеры частичных эквивалентов, различающихся лексически:

«... *ездить на моей шее*...» (Ч-7, 427)

«... *sõita mu turjal*...» (5, 425), буквально: «ездить на загорбке».

«... *подливать масло в огонь*...» (Ч-1, 174)

«... *õli tulle valada*» (1, 54) — «лить масло в огонь».

«В прятки нам играть нечего» (Ш-2, 143).

«*Pole mõtet pimesikku mängida*» (517) — «в жмурки играть».

«Княгиня принимала все это за чистую монету...» (Ч-1, 175)

«*Vürstinna võttis kõike seda puhta kullana*...» (1, 55) — «принимала за чистое золото».

«*Ruuki у них развязаны*...» (Ш-2, 318)

«*Käed on neil vabad*...» (701) — «руки свободны».

Примеры грамматических различий в составе оборотов и более сложных модификаций грамматического и лексического состава:

«... *оставаться со мной с глаза на глаз*...» (Ч-7, 19)

«... *jääda minuga silm silma vastu*...» (5, 19) — «глаз против глаза».

«... *знаю, что сам ты едва концы с концами сводишь*...» (Ч-5, 292)

«*Teap, et sa ise hädavaevalt ots otsaga välja tuled*...» (3, 436) — «конец с концом выходишь».

«Погляди на себя: *кожа да кости!*» (Ч-4, 523)

«*Vaata ennast: luu ja nahk!*» (3, 205) — «кость и кожа».

«... *пыль в глаза пускать*» (Ч-5, 297).

«... *prügi silma ajada*» (3, 441) — «мусор в глаз загонять».

«... *как с гуся вода*» (Ш-2, 183).

«... *nagu hane selga vesil*» (559) — «как на [спину] гуся вода».

«... *делал глазки милиционеру*...» (12, 203)

«... *tegi militsionäridele silmi*...» (198) — «делал глаза».

Использование имеющихся в ПЯ фразеологических эквивалентов — наиболее удобный путь, дающий к тому же, как правило, адекватные результаты: при тождественной образной структуре обычно оказывается тождественной и стилистическая окраска фразеологизмов, а также их эмоциональные характеристики, ибо эти качества неразрывно связаны с образным стерж-

нем оборота, его внутренней формой. При этом нельзя не отметить, что многое зависит и от стилистической окраски самих лексических компонентов фразеологизма (ср., например, возможные синонимы *голова* или *башка* в составе оборота).

Как не раз отмечалось, фразеологические эквиваленты в разных языках представляют собой прежде всего обороты, базирующиеся на античной мифологии, на библейских и евангельских текстах; существуют крылатые выражения «интернационального фонда» и т. п. Известно также, что тождественные по своей образной структуре фразеологизмы (обычно в языках народов, близких по культурному уровню и условиям жизни, принадлежащих к одному ареалу), могут возникать самостоятельно, в результате общности психических процессов и особенностей логического мышления (8; 12, 14 и 284). Кроме того, существуют языковые фразеологические кальки как результат контактирования языков (для эстонского языка это прежде всего эстонско-немецкие — в прошлом — и эстонско-русские языковые контакты).

В итоге процент фразеологических эквивалентов при переводе с русского на эстонский в некоторых случаях оказывается сравнительно высоким: в отдельных томах рассмотренных текстов от $\frac{1}{8}$ почти до одной трети всех оборотов; большинство из них — частичные эквиваленты (около $\frac{2}{3}$). Разумеется, эти цифры относительны: многое зависит от характера произведения, от своеобразия использованных в нем фразеологизмов, а также, естественно, от индивидуальности переводчика. Кроме того, наличие в ПЯ некоторого набора адекватных средств перевода также нередко расширяет возможности переводчика. Так, вместо непосредственного эквивалента может быть использован фразеологизм иной образной структуры, если это по той или иной причине себя оправдывает. Все же интересно отметить, что переводчики, как правило, предпочитают использовать имеющийся эквивалент.

В то же время и эквиваленты в ПЯ могут иметь варианты, один из которых является полным эквивалентом по отношению к соответствующему обороту ИЯ, другие — неполными. Выбор более «свежего» варианта в таких случаях позволяет разнообразить текст. Проиллюстрируем сказанное.

«... и потом все двадцать лет плакала — *глаза на мокром месте*» (Ч-8, 241).

«... — *silmad on vesises kohas*» (6, 209) — «глаза в сыром/водянистом месте».

Лексический вариант *märjas kohas* дал бы полный эквивалент.

Определенными эмоциональными нюансами различаются варианты *endale kuuli pähe laskma/kihutama*, соответствующие русскому *пустить себе пулю в лоб*.

Например: «Или пулю пуцу себе в лоб, или же... запыю...» (Ч-4, 362)

«Kas lasen endale kuuli pähe...» (3, 75) — «пуцу себе пулю в голову». Ср. в другом контексте, с пейоративным оттенком:

«Пришла охота пустить себе пулю в лоб, ну и стрелялся бы у себя дома...» (Ч-8, 379)

««Kui tuli juba tuju enesele kuuli pähe kihutada...» (6, 331) — «загнуть себе пулю в голову».

Однако, «освежение» перевода фразеологизма с помощью вариантов, особенно же использование необычных, менее употребительных и т. п. вариантов требует известной осторожности: фразеологизмы в оригинальном тексте и в переводе должны адекватно восприниматься и в этом плане. «Стандартное и традиционное в оригинале должно быть передано стандартным и традиционным в переводе» (7, 151).

При этом многое зависит от контекстных условий: «Далеко не всегда формальная эквивалентность ФЕ дает право на ее использование в переводе. Например, когда ситуация высказывания и речевая характеристика препятствуют этому» (7, 165). К сказанному можно добавить, что формальные эквиваленты могут в двух языках иметь свои особенности употребления, различную частотность; возможны расхождения в количестве значений и в их оттенках и др. Эти различия также не должны игнорироваться при переводе.

Так, например, русский фразеологизм *дурака валять* (мы оставляем здесь в стороне вопрос о полисемии/омонимии этого оборота в русском языке) имеет в эстонском два частичных эквивалента: *lollli mängima* 'притворяться глухим, непонимающим'; буквально «дурака играть» и *tola mängima* 'дурачиться, паясничать' — «шута играть». Значение 'проводить время впустую' у эстонских оборотов отсутствует. Поэтому правомерен следующий перевод:

«... можно было допустить, что Бегемот находится именно там, валяя дурака, по своему обыкновению (Б-2, 120)».

«... võis arvata, et Peemot <—> lõõb nagu ikka aega surnuks mõne lollusega» (311).

Переводчик здесь умело использовал прием компенсации (в контекст введен фразеологизм иного значения: «убивать время»); в полной мере сохранен разговорный характер отрывка. Это пример творческого подхода и успешного решения переводческой задачи. Это же можно сказать о следующем примере (эпизод с «арестованным» котом):

«— Вы, <—>, — бросьте, бросьте дурака валять! (Б-2, 139) — «... ärge vigurdage midagi!» (341)

В исходном тексте здесь фактически налицо совмещение двух значений оборота (кот, как кажется армавирскому гражданину, притворяясь непонимающим, дурачится). Однословный

эквивалент, использованный в переводе (*vigurdama*) несет в данном контексте эту же двойную нагрузку.

«— Тебе, Давыдов, хорошо *зубы показывать*, <——>. Ты смешками не отделивайся...» (Ш-2, 198)

Фразеологизм здесь переведен не дословно (*hambaid näitama*): это кажущийся эквивалент, который в эстонском языке не имеет значения 'смеяться', а с помощью фразеологизма *hambaid irvi ajama* (574), т. е. «скалить зубы».

Итак, хотя, как выше подчеркивалось, эквиваленты — наиболее удобный способ перевода фразеологизма фразеологизмом, «бдительность» переводчика не должна быть усыплена этой кажущейся легкостью: возможны ложные эквиваленты, по терминологии Ю. П. Гольцекера (5, 63). Иногда это межъязыковые фразеологические омонимы. Например, не вполне удачен перевод:

«— Ты чего номера выкидываешь?» (Ш-1, 51)

««*Mis numbrit siis sina teed?*» (55) — «номер делаешь». Эстонский оборот [*millestki*] *numbrit tegema* ([из чего-либо] «номер делать») имеет значение 'преувеличивать значение чего-л.', обычно о незначительном проступке, происшествии и т. д.

*

Чаще же фразеологические обороты двух — особенно неродственных языков оказываются различными по своей образной основе. Даже при определенной общности жизненного опыта, окружающих реалий и т. п., образное мышление народа подчас оказывается весьма своеобразным, самобытным, неповторимым, что, воплотившись во фразеологии, дает иногда весьма неожиданные для представителей другого народа сопоставления и метафорические представления и делает фразеологию в ее основной массе сугубо национальным явлением каждого народа.

Традиционный термин, используемый по отношению к переводу фразеологизма оборотом иной образной структуры — аналог. Фразеологизмы иной мотивации можно рассматривать и как межъязыковые фразеологические синонимы. Адекватность перевода достигается при тождественном значении, стилистической окраске и эмоциональной нагрузке разнообразных фразеологизмов. Конечно, здесь уже нет того автоматизма, который облегчает перевод в случае наличия фразеологических эквивалентов. Но и сами аналоги с этой точки зрения далеко не одинаковы. Есть аналоги весьма близкой мотивации и аналоги, абсолютно различные по своей образной основе. Возможна даже определенная условная градация аналогов по степени различия в представлениях, в метафорических картинах, лежащих в их основе.

а) Наиболее схожи с частичными эквивалентами аналоги предельно близкой внутренней формы, в основе которых лежит

фактически один и тот же образ. Но этот образ в них представлен несколько иначе, как бы повернут под другим углом зрения, отсюда существенные различия и в словесном оформлении: этим аналоги отличаются от частичных эквивалентов, которые представляют из себя как бы межъязыковые варианты фразеологизмов ИЯ и ПЯ, с теоретически возможной взаимной заменой компонентов (ср. выше *подливать* [в русском] и *лить* [в эстонском] *масло в огонь* и др. примеры).

«Зуб на зуб не попадет...» (Ч-3, 410)

«*Hambad lõgisevad suus...*» (2, 163) — «зубы лязгают во рту».

«— Так вот, — <——> — в двух словах» (12, 310).

««Niisiis», <——>, «*paari sõnaga*» (301) — «парой слов».

«... как воды в рот набрал...» (Ш-2, 172)

«... *püüd on suu jüski vett täis...*» (2, 548) — «рот как будто полон воды».

«А ежели ты словом подавился...» (Ш-2, 189)

«*Aga kui sul äkki sõnad kurku kinni on jäänd...*» (565) — «слова застряли в горле».

б) Образные представления, лежащие в основе фразеологизмов двух языков, могут в большей или меньшей степени различаться, но при этом имеется «объединяющее звено» — общее стержневое слово, что также облегчает нахождение переводчиком эстонского соответствия. Чаще это соматические фразеологизмы, образно передающие те или иные душевные (иногда физические) состояния человека. «В основной символике частей тела, как и вообще в символике, разные языки имеют немало общего» (12, 13).

«Рассказывали, что на Никаноре Ивановиче лица не было...» (Б-1, 65)

«... *Nikanor Ivanovitš oli näost täiesti ära vajunud...*» (102) — «провалился/спал с лица».

«Но окончательно его сердце упало...» (Б-1, 94)

«*Kuid lõplikult vajus ta süda saapasäärde...*» (151) — «сердце провалилось/упало в голенище».

«Потом у случайного посетителя <——> начинали разбегаться глаза...» (Б-1, 38)

«... *oli* <——> *silmade ees kirju...*» (56) — «было пестро перед глазами».

«Язык проглотил или сказать нечего?» (Ш-2, 172)

«*Kas keel jäi suulakke kinni...*» (548) — «язык к нёбу прилип».

«... зубы нам не заговаривай» (Ш-2, 191).

«... *ära puhi meile hambassel!*» (567) — «не дуи в зубы».

«... откидывай копыта на сторону» (Ш-2, 296).

«... *aja sõrad sirgu!*» (679) — «вытягивай копыта».

«— Верите ли, всю душу вымотали!» (Б-1, 62)

«Uskuge, hinge söövad seest!» (98) ~ «душу съедают».
«...вообразите, что вы, например, начнете <———>, *входить во вкус...*» (Б-1, 12)

«...saate sellest alles *maigu suhu...*» (14) — «получите вкус в рот».

в) Мотивировка фразеологизмов двух языков может строиться на близких или смежных представлениях. Общие лексические компоненты могут и отсутствовать.

«Что вы мне *тычете в глаза* свое железо?» (Зт, 583)

«Mis te *topite mulle nina alla oma rauda?*» (556) — «суете под нос».

«Она, может, меня за шубу *со света сживет...*» (Ш-1, 138)

«...kui ta kasuka pärast minu *hauda ajab?*» (149) — «в могилу загонит».

Ср. «...*сжить со свету* хотели» (12, 160).

«...*tahtsid hinge välja võtta*» (157) — «душу вынуть».

«...потом нам начали *жилы резать*» (Ш-1, 258).

«...*tulid meile pärast kõri kallale*» (276) — «напали на горло».

«...пойдет, дескать, *куда глаза глядят*» (Ш-2, 164).

«...*läheb, kuhi jalad viivad*» (539) — «куда ноги понесут».

«...*раз, два и обчелся...*» (Ш-2, 103)

«...*võib näppudel üles lugeda...*» (476) — «на пальцах можно сосчитать».

«...в *дыбки становится*» (Ш-1, 49).

«...*ajab sõrad vastu*» (53) — «упирается копытами».

«Погубила родная мамаша! *Голову сняла!*» (Ш-2, 19)

«*Tõmbas silmuse kaela!*» (389) — «петлю на шею натянула».

«...«*все там будем*»...» (12, 26)

«...«*seda teed peate me kõik käima*»...» (29) — «по этой дороге нам всем идти».

г) Большинство аналогов (межъязыковых фразеологических синонимов) имеет весьма значительные расхождения в образной структуре. Адекватный перевод их предполагает хорошее знание фразеологии обоих языков.

«— Вам лишь бы план вовремя выполнить, а там *хучь траушка не расти*» (Ш-2, 169).

«...*tingu või talk pooleks!*» (545) — «хоть дубину пополам».

«— Э, да у вас, гражданин, червонцев-то *куры не клюют!*...» (Б-1, 123)

«...*teil on ju raha lausa jalaga segada!*...» (198) — «ногой помешать».

«Извозчиков, сами знаете, *хоть пруд пруди...*» (Ч-3, 417)

«...*nagu kirjusid kasse...*» (2, 170) — «как пестрых кошек».

«...как будто и на самом деле старик *концы отдает...*» (Ш-2, 120)

«...nagu hakkaks taadil <----> tass välja minema...» (493—494) ~ «дух начинает выходить».

«Уж коли заболел, то пиши пропало» (Ч-4, 144).

«Kui juba kord oled haigeks jäänud, siis on lugu lauldud» (2, 406) ~ «песня спета».

«...налим — поминай как звали» (Ч-3, 334).

«...luts — kadus kus kolmkümmend» (2, 105) — «[исчез] где тридцать».

«...нас теперь водой не разольешь» (Ч-8, 425).

«Me oleme nüüd temaga nagu sukk ja saabas» (6, 379) — «как чулок и сапог».

«...перебиваемся с хлеба на квас» (Ч-4, 322).

«...elame kõik peost suhu» (3, 33) — «живем из ладони в рот».

««Каждый сверчок знай свой шесток»» (Ч-2, 147)

««Kingsepp jäägi oma liistude juurde»» (1, 233) — «сапожник пусть остается при своих колодках».

«С три короба наговорил...» (Ч-5, 177).

«Maad ja ilmad räakis kokku...» (3, 367) — «страны и светы [наговорил]».

Ср. в другом контексте: «Наврала с три короба!» (Ч-4, 270).

«Luiskasid nii, et suu suitses!» (2, 500) — «[врала так, что] рот дымился».

д) Мотивировка у исходного фразеологизма может отсутствовать или иметь лишь весьма нечеткие контуры (т. н. фразеологические сращения).

«...хватит в зубы ему заглядывать» (Ш-2, 231)

«...oleme teda juba küllalt kaua pilra peal hoind!» (611) — «[и так уж долго] на щепке держали».

«Это уж как пить дать...» (Ч-3, 346)

«See on nagu aamen kirikus...» (2, 117) — «как аминь в церкви».

«...а он, <---->, снова останется на бобах» (12, 202).

«...tema, <---->, jääb aga jälle kuivale» (198) — «останется на мели/на сухом месте».

«Начальству втирают очки!» (Б-1, 54)

«Ajavad ülemustele puru silma!» (83) — «загоняют мусор в глаз».

«...по части философии собаку съел» (Ч-6, 167).

«...ja filosoofias tunneb end nagu kodus» (4, 222) — «чувствует себя как дома».

«...на ус себе мотал...» (Ч-5, 188)

«...rani endale kõrva taha» (3, 372) — «клат себе за ухо».

«— Сам приехал, <----> — Ну, будет вам на орехи!» (Ч-6, 129)

««Noh, nüüd te saate peapesul!»» (4, 184) — «получите головомойку».

«Такого тебе рака испеку, что будешь знать...» (Ч-5, 260)

«Ma panen sulle niisuguse pirni, et sa tead...» (3, 420) — «положу грушу».

«— Чтoб мне ни дна, ни покрышки!» (Ч-2, 228)

«Et ma taarõhja vajuksin...» (1, 269) — «чтоб [я] на дно земли провалился».

«Я им покажу, где раки зимуют!» (Ч-2, 155)

«Ma peile näitan, kuidas Luukas õlut teeb!» (1, 240) — «покажу, как Лука пиво делает».

В этой группе встречаются междометные фразеологизмы, а также бранные выражения.

«— Здравствуйте, я ваша тетя!» (Б-1, 67)

««Tere hommikust!»» (105) — «доброе утро!»

«...дышло им в рот...» (Ш-2, 197)

«...tuld ja tõrva peile kaela...» (573) — «огонь и смолу [им] на шею».

Градация аналогов по степени различий в образной структуре может быть и уточнена (она могла бы составить предмет самостоятельного изучения в рамках сопоставительной фразеологии); здесь намечены лишь основные контуры. Параллельно с этой градацией идет градация трудностей перевода (что, конечно, нельзя понимать прямолинейно). Если в случае наличия в ПЯ оборота близкой образной структуры фразеологизм в определенной степени сам «подсказывает» перевод (почти как при наличии эквивалентов), то в случае значительного расхождения внутренней формы подобный «автоматизм» отсутствует. Близость образной структуры способствует также сохранению нужной стилистической и эмоциональной окраски. Разумеется, нередко возможен выбор из ряда имеющихся в ПЯ аналогов-синонимов.

Иногда переводчик по разным причинам (стиль, контекстные условия и т. п.) отказывается от применения обычного, «традиционного» соответствия — аналога.

«...и тут понесла околесину о том, что она не отвечает за домоуправление...» (Б-2, 119).

В эстонском языке имеется аналог *lobal/jama ajama*. Переведено же «...edasi tuli nagu kuulipildujast...» (309) — «как из пулемета». В данном контексте важнее передать стремительность, неудержимость Аннушкиной многословной речи, точное сохранение значения фразеологизма здесь менее существенно.

В то же время не так уж редки случаи ложной аналогии, где неосторожное использование фразеологизмов ПЯ приводит к более или менее значительному искажению смысла контекста, иногда до полной смысловой неадекватности.

«Будь только справедлив перед богом и людьми, а там — хоть трава не расти» (Ч-7, 44).

«— pärast meid tulgu õbi veerutus» (5, 44) — «после нас хоть потоп». Фразеологизм, введенный переводчиком в кон-

текст, не соответствует смыслу всего высказывания, искажает его.

«Ты ведь иногда такое ляпнешь, что *уши вянут!*» (Ч-4, 374)
«... *sul ju lipsab välja midagi niisugust, et kõrvad hüüga-
vad!*» (3, 69) — «уши гудят», т. е. от сильного звука, крика
и т. п.

«... *достается на орехи* и молодежи» (Ч-6, 303).

«... *saab vatti ka poogsugu*» (4, 346). Эстонский оборот обыч-
но употребляется в значении 'достанется кому-л.', т. е. 'придется
потрудиться, помучиться'.

«Теперь все они уже покончили курсы, *вышли в люди...*»
(Ч-4, 79)

«*Nüüd olid nad kõik <-----> ellu astunud...*» (2, 352),
т. е. «вступили в жизнь». Налицо явный семантический сдвиг:
речь идет о бывших бедных студентах, ставших известными,
зажиточными людьми.

Определенный семантический сдвиг имеет место и в следую-
щих отрывках.

«— Взял, да так разревелся сам от жалости к нему, что у
меня *сердце зашлось!*» (Ш-1, 212). Переведено «... *kuni süda
läikima hakkas*» (227), т. е. 'начало тошнить'.

«... *с больной головы на здоровую валить!*» (Ш-1, 264)

«... *ota kaelast ära sokutada*» (282), где значение: 'изба-
виться, взвалив что-либо на кого-либо другого'.

«... *по самые уши завяз* в мелкособственничестве?» (Ш-2,
204)

«... *on sinust saanud väikeperemees — pealaest jalatallani!*»
(581), т. е. «стал мелкособственником от головы до пят».

При тождественном денотативном значении аналоги далеко
не всегда адекватны стилистически (как, впрочем, и внутриязы-
ковые синонимы). Неучет этого иногда приводит к сглажива-
нию, стилистической нейтрализации перевода.

«... *а ежели ты вскорости глаза свои не разуешь...*» (Ш-2,
148)

«... *kui sa veel kaua kinnisilmi ringi käid...*» (523), бук-
вально: «еще долго будешь ходить с закрытыми глазами»;
можно же было использовать, например, просторечный оборот
silmaliuke lahti tegema («открыть ставни глаз»).

Иногда теряется образность, выразительность фразеологиз-
ма ИЯ:

«В другой раз *ни за какие коврижки!*» (Ч-3, 261), где пере-
вод — «... *mitte mingi hinna eest!...*» (2, 59) менее экспресси-
вен («ни за какую цену»).

Немаловажен также момент «свежести»/стертости внутрен-
ней формы фразеологизма. Более редкому и поэтому более экс-
прессивному фразеологизму ИЯ должен соответствовать такой
же оборот ПЯ, и наоборот (см. об этом также: 11, 265). С этой
точки зрения не вполне адекватен перевод характерного для

мастера Безенчука бранного выражения «*туды его в качель*» (12, 28 и др. стр.) обычным, употребительным эстонским аналогом «*sõitku ta seenele*» (31 и др. стр.) — «пусть поедет по грибы».

Всего с помощью аналогов переведено приблизительно от трети до половины (в отдельных томах и произведениях) всех фразеологизмов. Итак, по нашим данным, переводу на эстонский язык с помощью фразеологизмов поддается примерно 45—80% от общего количества русских оборотов (напомним, что в это число входят также пословицы и поговорки). Конечно, высшая граница (80%), должна, по-видимому, рассматриваться как теоретическая возможность, которая может реализоваться лишь при «счастливым стечении обстоятельств».

*

Вторую группу составляют фразеологизмы, которые не имеют эстонских равнозначных фразеологических соответствий (так называемые безэквивалентные фразеологизмы). В таких случаях переводчик вынужден прибегнуть к помощи следующих вспомогательных способов: 1) контекстуальные замены и другие приемы фразеологической компенсации, 2) калькирование (чаще неточное), 3) описательный перевод, 4) перевод лексическим эквивалентом.

Особый интерес представляют контекстуальные замены. Этим термином принято называть фразеологизмы иного значения, которые однако в данном контексте — и только в нем — иногда полностью, а чаще частично принимают на себя семантическую нагрузку исходного фразеологизма. Использование этого приема возможно и при наличии в ПЯ фразеологического эквивалента или аналога. Чаще же контекстуальные замены используются в случае безэквивалентной фразеологии.

«Просто у меня с горя *ум за разум зашел!*» (Ч-4, 238)

«*Lihtsalt pea ei jaga enam...*» (2, 469), т. е. кто-либо не соображает (буквально: «голова не делит»); налицо некоторое «упрощение» значения исходного фразеологизма.

«Так, например, один горожанин, <—>, получив трехкомнатную квартиру <—>, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых *ум заходит за разум*, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную...» (Б-2, 73). Переведено «... *üle mõistuse käiva värgi abita...*» (236); значение фразеологизма — 'уму непостижимо'.

««Вы мне голову вашими глупостями не забивайте...» (Ш-2, 123)

««*Teie ärge mulle oma rumalustega kärbseid pähe ajage*»...» (496)

Фразеологизм имеет значение 'лишать способности рассуждать, здраво мыслить' (буквально: «загонять мух в голову»).

«...чего же я с тобой буду гутарить, без толку *воду в ступе толочы!*» (Ш-2, 283)

«...*mis ma suga ilmaasjata seletan ja suud kulutan!*» (666) Налицо определенная конкретизация: фразеологизм (буквально — «рот изнашивать») употребляется для обозначения бесполезных разговоров.

«Думал: «Окалечу быка, и *взятки гладки?*»» (Ш-1, 126)

««*Teen härja vagaseks ja asi tahe?*»» (135), т. е. «дело в шляпе».

«...к чему же из людей *жилы тянуть...*» (Ш-2, 169)

«...*aga miks sa siis inimestelt seitse nahka tahad koorida...*» (545)

В переводе имеет место гиперболизация, усиление значения («семь шкур сдирать»).

«...уж это я *как в воду гляжу!*» (Ш-2, 239)

«...*see on klaar nagu allikavesi!*» (619) — «[ясно], как родниковая вода».

В другом контексте этот же оборот переведен иначе:

«Так оно и будет с тобой, я *как в воду гляжу!*» (Ш-2, 293)

«...*see on niisama kindel kui jumal taevas!*» (675), т. е. переведено выражением уверенности: «как бог на небе».

«— Э, Давыдов, да ты ловкач! У тебя *губа не дура...*» (Ш-1, 316)

«*Sa põle sui peale kukkunud...*» (336). Значение фразеологизма ПЯ — 'за словом в карман не полезешь', буквально: «на рот не падал». В этом отрывке (сцена, где Давыдов, доказывая возможность вспахать за день гектар, согласен взять с этой целью быков Атаманчука) контекстуальная замена оказывается весьма удачной.

Во всех приведенных переводах налицо определенный семантический сдвиг, по сравнению с исходным текстом. Вне контекста фразеологические обороты ИЯ и ПЯ не являются равнозначными, в контексте же их использование полностью себя оправдывает, семантический сдвиг остается в пределах допустимого; стилистически русские и эстонские фразеологизмы адекватны. Более же значительное расхождение семантики фразеологизмов ИЯ и ПЯ может привести к нежелательному искажению смысла подлинника.

«...глуп и *из-за угла мешком прибит*» (Ч-4, 418).

«...*lihtsalt rumal ja jänese sorti*» (3, 126), где *jänese sorti* — трусливый (буквально «сорта зайца»).

Одним из основных условий и при контекстуальной замене остается требование стилистической адекватности. Поэтому никак нельзя считать удачным, например, следующий перевод:

«...а вот как поживете с мое, батенька, так и узнаете *кузькину мать!*» (Ч-6, 141)

«...siis näete, missugune kibe karikas see elu on!» (4, 195—196)

Переведено: «увидите, какая горькая чаша эта жизнь», что стилистически весьма далеко от подлинника.

Иногда контекстуальная замена преследует именно цель сохранения стилистического эффекта, экспрессивности подлинника.

«...кинуться на эти лампы и замысловатые вещицы, всех их к чертовой бабушке перебить...» (Б-1, 56)

«...karata kallale nendele lampidele ja kentsakatele värkidele, peksta nad kõik pihuks ja põrmuks...» (87), т. е. «перебить их все в пух и прах». Вместо «традиционного» однословного соответствия *kuradile* («к черту») использован фразеологизм *pihuks ja põrmuks* («в пух и прах»), что представляется весьма удачной находкой переводчика, хотя, казалось бы, несколько снятой оказывается грубость, впрочем, свойственная данному персонажу (поэту Ивану). Но думается, здесь важнее передать состояние бешенства, ярости Ивана, попавшего в психоневрологическую клинику, а также его наслаждение при мысли об уничтожении обстановки, отсюда размахистость словесного оформления этой мысли («кинуться... к чертовой бабушке перебить»). Именно это в полной мере удалось передать в эстонском тексте («karata kallale... peksta nad kõik pihuks ja põrmuks»), где даже аллитерация способствует передаче этого особого эфлатического «накала». Отметим еще, что выражение *kallale kargama* имеет стилистическую окраску сниженности, что в определенной степени компенсирует утрату бранного выражения («к чертовой бабушке») оригинального текста.

*

К собственно компенсации относятся случаи введения в контекст фразеологизма иного значения, не «претендующего» на замену фразеологизма ИЯ.

«Вслед за тем, откуда ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек...» (Б-1, 42)

«Seejärel süttis äkki malmivõre ääres tont teab mis tuluke...» (63), т. е. «бес его знает, что за огонек». Текст перевода несколько более снижен стилистически, но это в данном контексте вполне допустимо (речь идет о пьяных посетителях ресторана, заметивших приближающегося со свечой поэта; более того, выражения типа *черт/бес знает* характерны для стиля романа в определенных его частях).

«К сожалению, я ошибся. Иначе *черта с два* вы бы меня нашли» (Зг, 534).

«Muidu poleks te *keda kuraditki leidnud*» (511) ~ «ни одного черта [бы не нашли]».

По вполне понятным причинам контекстуальные замены используются сравнительно редко; в нашем материале обнаружены единичные примеры. Еще реже встречаются случаи фразеологической компенсации, что, вероятно, также не случайно: существуют объективные границы применения этого метода.

*

Говоря о калькировании, следует сказать, что это, как нам кажется, самый «каверзный» способ перевода, таящий в себе много опасностей. Об этом, в частности, не раз писалось. Калькирование может оказаться и весьма ценным орудием в руках переводчика, приводящим иногда даже к потенциальной возможности возникновения новых оборотов (6, 123—124). В то же время нередки случаи, когда калькирование приводит к буквализму в худшем значении этого слова. Возможности калькирования зависят от целого ряда обстоятельств — с одной стороны, связанных с особенностями калькируемой единицы, с другой стороны, зависящих от мастерства переводчика. Калька должна звучать естественно, органически вливаться в ткань произведения, а не восприниматься в ней как инородное тело. Если фразеологизм ИЯ образно стерт, то и в кальке образ не должен излишне «выпирать», останавливать на себе внимание читателя, производить эффект неожиданности, необычности. Поэтому чаще хорошие результаты дает калькирование пословиц и поговорок, которые уже по своей природе выделяются в тексте (см. также 9, 51).

Хороший результат дало калькирование, например, следующих выражений, где переведенные пословицы-поговорки воспринимаются почти как «свои»: «Баба с телеги — кобыле легче...» (Ш-1, 229; перевод стр. 245); «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь» (Ч-5, 188; перевод том 3, стр. 372); «Бедность не порок» (Зт, 351; перевод стр. 341); «Язык мой — враг мой» (Ч-7, 45; перевод том 5, стр. 45) и др. Как пишут Л. И. и С. И. Ройзензоны (9, 51), нередко хорошо поддаются калькированию и компаративные обороты, например: «Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь?» (12, 54; перевод стр. 56). Чаще оказываются удачными неточные кальки, а особенно случаи, где исходный фразеологизм по-своему интерпретируется, парафразируется, подвергаясь иногда сложной обработке: переводчик создает, можно сказать, новый оборот, который по вербальному оформлению лишь отдаленно напоминает исходный. Обычно такие попытки увенчиваются успехом: творческое преобразование оборота ПЯ дает переводчику возможность заставить фразу звучать более естественно. Приведем примеры.

«— Мели, Емеля, твоя неделя» (Ч-2, 249). Переведено «*Jahvata, jahvata, kui kord on käes...*» (1, 290) — «Мели, мели, раз твой черед».

«*He при на рожон, дурак!*» (Ш-2, 100)

«*Ära roni sülitsti teiba otsa, loll!*» (104), где в преобразованную кальку введены разговорные слова.

Иногда достаточно лишь незначительного изменения, чтобы калька на ПЯ зазвучала естественно.

«— Иностранные слова тебе нужны, дед, как мертвому припарки» (Ш-2, 217).

«...*piisama vähe vaja kui surnule leili*» (595) — «[так же мало нужны], как мертвому пар (в бане)».

«— *Кошке смех, мышке слезы...*» (Ч-4, 138), где переводчик удачно использовал рифму: «*Kassil naljaasi, hiirel silma-vesi...*» (2, 404).

Встречаются и контексты, где калькирование необходимо: определенную стилистическую роль играет внутренняя форма оборота. Таков конец рассказа А. П. Чехова «Тоска».

«Нету Кузьмы Ионыча... *Приказал долго жить*... Взял и помер зря... <—>. И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек *приказал долго жить*... Ведь жалко?» (Ч-4, 43)

Не случайно из богатого синонимического ряда фразеологизмов и слов со значением «умереть» Чеховым взят именно оборот *приказать долго жить*. Никакой другой оборот, никакое другое слово не были бы в состоянии передать самое существенное для рассказа: боль и тоску отца по умершему сыну, ощущение противоестественности ухода из жизни молодого существа. Здесь фразеологизм поднимается до высоты художественной детали. Переводчик по-разному перевел оборот в двух случаях (том 2, стр. 322). Первый раз фразеологизм значительно видоизменен (буквально: «Сказал только: живите хорошо [удачная находка: выражение употребляется в эстонском языке также в значении 'прощайте']»). Во втором случае — неточная калька: «жеребеночек приказывает другим жить дальше». Все смысловые и стилистические нюансы чеховского текста переданы полностью.

Однако встречаются кальки и там, где в них нет никакой необходимости.

«... али бы *вроде мешком из-под угла вдаренный*» (Ш-1, 158). Переведено: «...*nagu oleks talle nurga tagant kotiga pähe löödud*» (170). Ср. аналогичное по стилю и образности эстонское выражение *nagu sooja pätsiga pähe saanud* («как будто теплой буханкой получил по голове»).

«Еще на губах молоко не обсохло...» (Ч-4, 26). Переведено калькой (2, 305), хотя в эстонском языке употребляется оборот *kõrvatagused alles märjad* («за ушами еще мокро»). См. также ниже (стр. 160) о переводе этого же фразеологизма свободным словосочетанием.

Иногда под влиянием текста оригинала, под «гипнозом чужого» (4, 111), возникают и неудачные переводческие варианты

фразеологизма, т. е. несколько видоизмененные обороты ПЯ, хотя в такой перестройке нет никакой необходимости.

«...пальто как в воду кануло» (Ч-5, 385); переведено «...*nagu vette kadunud*» (3, 486). Перевод дословный, хотя в эстонском языке имеется фразеологизм *nagu vits vette* [kaduma] (буквально: «[пропасть] как обруч в воду»).

«Ведь она с фельдшером жила, как кошка с собакой...» (Ч-6, 120). Перевод «...*nagu kass koeraga*...» (4, 175), хотя для эстонского языка естественнее было бы обычное *nagu kass ja koer* («как кошка и собака»).

Немало и таких фразеологизмов, калькирование которых на тот или иной язык явно «противопоказано». Нельзя считать, к примеру, удачными кальки следующих оборотов в эстонском тексте: «...кровь с молоком!» (Ч-3, 395; перевод том 2, 147); «Хлебом меня не корми, а только дай с удочкой посидеть» (Ч-4, 521; перевод том 3, стр. 203); «Черт бы тебя драл...» (Ш-1, 193; перевод стр. 207) и др. Фразеологический образ для носителя эстонского языка оказывается непривычным, неожиданным, в то время как в русском это привычные, употребительные выражения. Кроме того, калька в таких случаях лишает контекст ПЯ естественности, непринужденности, разговорного характера, которые ему присущи в оригинале. Крайне же неудачным следует признать калькирование там, где образ оборота остается для читателя совершенно непонятным, вызывающим недоумение. Таковы для эстонца, например, следующие: «...секи меня, как сидорову козу» (Ч-4, 586; перевод том 3, стр. 262); «Ты что это несешь и с Дона и с моря?» (Ш-1, 215; перевод стр. 230); «...как в сказке про белого бычка...» (Ш-1, 225; перевод стр. 241).

Явно не понял переводчик значение фразеологизма *золотая рота*, который переведен то как *kuldsuu* («золотой рот», т. е. «красноречивый человек», стр. 384); то калькой — *kuldroad* (518), непонятной для эстонского читателя. Ради справедливости следует отметить, что это единственный подобный случай явного недосмотра переводчика, замеченный нами в рассмотренных текстах.

Итак, калькирование может дать и вполне приемлемые переводы; успех зависит от характера калькируемого оборота, от окружающего контекста, от мастерства переводчика.

Посредством калькирования в рассматриваемых текстах переведено 5—20% от всех оборотов.

Особый случай — использование писателем в различных стилистических целях крылатых выражений. Таковы, например, цитаты в речи Остапа Бендера, во многом способствующие созданию его речевого портрета как человека по-своему красноречивого, любящего хлесткое слово, словесную игру, судя по используемым им выражениям, чему-то учившегося. Иногда он искажает цитаты, (как правило, намеренно); все это в переводе

невозможно сохранить. Таковы, например, следующие его выражения: «Я беспартийный монархист. *Слуга царю, отец солдатам*» (Зт, 400); «Они довольно часто *сеют разумное, доброе, вечное*» (Зт, 379); «— Значит, это и есть Зося Синицкая? <—> — Вот уж действительно — *среди шумного бала, случайно...*» (Зт, 540); «— *В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы зачех-то росли*» (Зт, 611); «*Не счесть алмазов пламенных в лабазах каменных*» (Зт, 627). Возможно, в подобных случаях было бы целесообразно использовать систему подстрочных примечаний: для эстонского читателя эти выражения не являются крылатыми; утраченным оказывается и эффект искажения некоторых из них.

*

Чаще безэквивалентные фразеологизмы переводятся описательно или посредством лексического эквивалента. В рассматриваемых произведениях описательно переведено 14—17% от общего числа оборотов, лексическими же эквивалентами переведено 12—20% всех фразеологизмов.

Перевод свободным словосочетанием принят почти безоговорочно считать наименее ценным способом перевода, приводящим к потере образности. Но ведь образность «далеко не всегда ощущается в исходном языке, если ФЕ очень употребительна» (7, 152). Таковы следующие примеры.

«Остап выбивался из сил» (12, 277).

«Ostap oli pingutusest nõrkemas» (269) — «ослабел от напряжения».

«— Ума не приложу...» (Ч-4, 210)

«... mitte ei mõista...» (4, 442) — «никак не пойму».

Исходные фразеологизмы здесь не обладают яркой образностью, красочностью, они весьма употребительны, стилистически нейтрально окрашены, поэтому перевод свободным словосочетанием вполне возможен.

Там, где позволяет контекст и речевая ситуация, переводчики нередко строят описательный перевод с участием образных, экспрессивных, стилистически окрашенных слов, что позволяет сохранить образность и стилистическую окраску исходного текста; в определенной степени это восполняет также утрату фразеологичности. Приведем примеры.

«... еще на губах молоко не обсохло...» (Ч-6, 90)

«... ise alles kollanokk...» (4, 144), где *kollanokk* — «желтоклювый», т. е. «юнец». Впрочем, здесь возможен и фразеологический аналог (*kõrvatagused alles märjad*: «за ушами еще мокро»), но свободное словосочетание вполне адекватно передает информацию, содержащуюся в исходном обороте.

«... буркнула <—> «черти тут носят» (Ш-1, 52).

«... promises <—>: «*Kolavad ka igasugused ringi...*» (56) — «всякие тут шатаются».

«... я напрасно налегал на глотку...» (Ш-2, 182)

«... *lõugasin* ma ilmaasjata liiga kõvasti...» (558) — «слишком громко орал».

Примеры можно бы умножить. К сожалению, нетрудно привести и примеры неудачного, в лучшем случае лишь частично адекватного перевода фразеологизмов посредством свободных словосочетаний: ощутимо изменена стилистическая окраска, утрачены образность, экспрессивность.

«— Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему, под суд отдавать надо...» (Ч-7, 73)

««*Need, kes meeletult riskeerivad...*» (5, 73), т. е. «кто безумно рискует».

Не оправдывает себя замена открытой похвалой бранного выражения, употребленного с добродушно-грубоватым одобрением: «— Давыдов, в рот тебе печенку!» (Ш-1, 302); переведено «*Davõdov, sa oled tubli poiss!*» (322): «Давыдов, ты молодец!»

Можно было использовать имеющийся аналог и в следующих случаях: «... милостивое внимание ко мне господ мужчин я не ставлю ни в грош» (Ч-7, 480; перевод том 5, стр. 481).

«С легкой руки Якова Лукича каждую ночь стали резать в Гремячем скот» (Ш-1, 115; перевод стр. 124).

«Признаться, мы с этим делом маху дали» (Ш-1, 20; перевод стр. 21).

Еще хуже, если перевод звучит неуклюже, если вместе с фразеологизмом оказываются утраченными естественность и разговорный характер высказывания. Так случилось, например, в следующих фразах.

««Молодость моя погибла ни за грош, как ненужный окурок...» (Ч-5, 13)

««*Minu poorus on hääbunud mitte millegi eest, nagu tarbetu suitsukoni...*» (3, 278)

«В Питер вас и калачом не заманишь...» (Ч-5, 72)

«... *ei saa teid mingil kombel meelitada...*» (3, 324)

Встречаются и смысловые ошибки и неточности.

«Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить» (12, 106).

«*Kokkuhoiu mõttes jättis ta isegi suitsetamise maha*» (106), т. е. «для экономии», что не соответствует оригиналу.

*

Что касается лексических эквивалентов как средства перевода фразеологических оборотов, то и здесь результат может оказаться различным. «Как правило, ФЕ всегда будет экспрессивней своего словарного эквивалента. Каждой образной ФЕ свойственна эмоциональное и/или оценочное качество» (7, 154).

Это в целом, несомненно, верно. Более того, при переводе лексическим эквивалентом всегда будет утрачена специфика фразеологизма, с его раздельнооформленным, компонентным составом и вытекающими отсюда особенностями семантики. Все же результаты перевода фразеологизмов могут в значительной степени разниться, что обусловлено как характером исходного оборота (привычный оборот, со стертой внутренней формой или же оборот с ярко экспрессивной, «живой» образностью); многое зависит также от используемого слова ПЯ — лексического эквивалента фразеологизма, от его стилистической окраски, от его переносного употребления, от наличия внутренней формы.

Приведем примеры удачного, на наш взгляд, перевода фразеологизма образным, стилистически сниженным словом.

«— *Голову ему уж наклевали, никак?»* (Ш-1, 68)

«*Küll mõni talle juba koputas*» (73) — «[ему уже] стукнули».

«...сели — и поминай как звали!» (Ч-7, 90)

«...*istusid peale — ja tuhknai!*» (5, 90), где *tuhknai* имеет значение 'быстро, мигом [укатили]'; фактически здесь налицо контекстуальная лексемная замена.

В этих и многих других контекстах слово адекватно передает всю информацию фразеологизма ИЯ — семантическую, экспрессивную, стилистическую, эмоциональную. Непереданной остается только фразеологичность, с ее особенностями, являющимися следствием расчлененного характера единицы.

Иногда перевод лексическим эквивалентом оказывается необходимым: введение в контекст фразеологизма сделало бы фразу ПЯ громоздкой, лишило бы ее динамичности.

«...две тысячи зрителей выскочили на улицу в чем мать родила...» (Б-2, 119). Переведено «*ihualasti*» (310), что позволило сохранить ритм оригинала.

Следует отметить, что особый случай представляют из себя эстонские образные сложные слова, которые условно можно рассматривать как своеобразные однословные фразеологизмы; им в русском языке (а также в некоторых других языках) соответствуют или теоретически могли бы соответствовать фразеологические обороты. Примеры: «золотая лихорадка» (12, 256) — «*kullaralavik*» (249); «в поте лица» (Ч-7, 81) — «*palgehigis*» (5, 81); «в глубине души» (12, 202) — «*hingerõhjas*» (197) и др., где эстонское сложное слово фактически является эквивалентным переводом русского оборота. См. также: «Перебывало у меня тут их видимо-невидимо» (Ч-4, 333), в переводе «*muistuhat*» (3, 43); «черная тысяча»; «сломя голову» (Ч-5, 320), в переводе «*ülereakaela*» (3, 464) — «через голову и шею» и др.

К сожалению, можно привести и примеры неудачного подбора лексического эквивалента: исчезает экспрессивность, «сглаживается» стилистическая окраска.

«Разбитый, помятый, без задних ног возвращаетесь вы к вечеру домой» (Ч-5, 9).

«Aravintsutatuna, roidununa, üliväsinuna jõuate õhtuks koju» (3, 274), буквально: «сверхусталым», хотя можно было использовать аналог *väsinud kui koer* («усталым как собака»).

«Тут уж некогда нюни распускать...» (Ч-7, 44)

«Siin juba pole mahti *nuuksuda*...» (5, 44), где *nuuksuma* — «рыдать».

*

Особого рассмотрения заслуживает перевод индивидуально-авторских модификаций фразеологических оборотов, являющихся специфическим стилистическим средством в исходном авторском тексте. Самые частые приемы авторской обработки фразеологизмов следующие: расширение состава оборота, а также использование окружающего контекста в целях актуализации внутренней формы оборота; замена в составе фразеологизма лексических компонентов; столкновение двух значений оборота (точнее, использование его как фразеологизма и в то же время как омонимичного ему свободного словосочетания); использование фразеологического образа, причем его вербальный состав иногда весьма значительно видоизменяется. Другие способы модификации встречаются реже: обновление семантики оборота, словообразовательные изменения, эллиптические формы, намеренное искажение оборотов и др. Однако эти количественные соотношения, разумеется, варьируются от автора к автору.

а) Расширение состава оборота, введение в него дополнительных компонентов дает эффект «оживления» фразеологизма; одновременно возникают определенные семантические нюансы. Модификации легко поддаются переводу, если в ПЯ имеется соответствующий фразеологический эквивалент (полный или частичный) или аналог.

«...необходимость *почесать старые языки*» (Зт, 463).

«...остальные, *поддавшиеся на кулацкую удочку*...» (Ш-1, 301)

«...а ты *нос выше крыши дерешь*...» (Ш-2, 132)

В приведенных примерах перевод на эстонский язык осуществлен посредством соответствующим образом видоизмененного эстонского фразеологического эквивалента. (В последней фразе обработка переводчиком носит творческий характер). Разумеется, в определенных контекстуальных условиях могут быть использованы и другие способы перевода. Труднее там, где в ПЯ отсутствует эквивалент или аналог.

«*Мелкая уголовная сошка*, вроде Паниковского...» (Зт, 430), где перевод «*Väike varganägi*...» (414) упрощает исходное выражение как семантически, так и стилистически (буквально: «мелкое воровское лицо»).

б) Включение фразеологизма в контекст, своеобразно дополняющий его, также преследует цели оживления внутренней формы фразеологизма. Часто при этом возникает как бы развернутая метафора (З, 86 и 88), «сердцевиной» которой является фразеологический оборот. Прием дает весьма ощутимый стилистический эффект. Никаких трудностей при переводе не возникает, если в ПЯ имеется фразеологизм, который может быть обыгран тождественным образом, особенно же в случае наличия в ПЯ фразеологического эквивалента. Так переведены, например, следующие тексты.

«... пионерка <—> своими слабыми ручонками сразу ухватила быка за рога...» (Зт, 597; перевод стр. 570).

«Но действительность <—> развалила <—> воздушный замок со всеми его башенками, подъемными мостами, флюгерами и штандартом (Зт, 353—354; перевод стр. 344).

«— Деньгу будешь грести лопатой — да не простой лопатой, а грабаркой!» (Ш-2, 298)

В случае использования в контексте сравнения, калькирование также может дать вполне приемлемый результат.

«Ить у него же всю жизнь язык трепется, как худая варешка на колу» (Ш-2, 320).

«Tema keel lipendab ju kogu eluaja jüsku katkine labakinnas teiba otsas» (705).

Думается, и в следующем случае можно было фразеологизм перестроить, ввести в него сравнительный союз; сейчас метафора для эстонского читателя звучит не вполне естественно.

«Кошки, не обыкновенные, а с длинными, желтыми когтями, скребли ее за сердце» (Ч-1, 437).

Близок к описанному способ обновления лексических связей фразеологизма.

«Капитала нёт, а он во всю ивановскую жарит...» (Ч-3, 555)

«Kapitali pole, tema aga kupatab täie tambiga...» (2, 275)

«... рассказал во всю ивановскую...» (Ч-1, 394)

«... jutustas nii laia suuga...» (1, 110)

Переведено стилистически соответствующим аналогом, утраченной оказывается неожиданная сочетаемость и, отсюда, юмористический эффект. Следующий же перевод адекватен во всех отношениях.

«... ну и люби во все лопатки...» (Ч-4, 228)

«... siis armasta täie auruga...» (2, 460)

в) Изменение компонентного состава фразеологизма — один из наиболее частых приемов авторского обновления оборотов. Так же, как и в предыдущих случаях, прием легко может быть сохранен, если в ПЯ имеются фразеологические эквиваленты.

«При нем колхоз сразу в гору прыгнет...» (Ш-2, 295)

«Siis põrutab kolhoos kohe ülesmäge...» (678)

«... на душе у него лежала большая холодная лягушка» (Зт, 488).

«...kuigi ta südant rõhus suur külm kann» (469).

Не совсем понятно, почему переводчик не нашел нужным сохранить авторскую модификацию оборота в следующем случае: (речь идет об отце Федоре, сбравшем бороду).

«А святой отец? <—>. Не видать ему стульев, как своей бороды» (12, 94). Переведено «Ei näe ta toole nagi oma kõrvu» (94), т. е. «как своих ушей».

г) Определенной изобретательности требует передача фразеологизмов, которые использованы в двух значениях — в прямом (как свободное словосочетание) и как фразеологизм. Способ калькирования позволяет сохранить лишь прямое значение, фразеологизм в переводе воспринимается как свободное словосочетание.

«— Хорошие плясуны танцуют всегда от печки, а нам с тобой начинать поиск надо от стенки...» (Ш-2, 230; перевод стр. 609).

Интересен случай, где словосочетание, которое обычно не имеет нефразеологического значения, употреблено именно в прямом значении, с сохранением при этом и фразеологического значения; переведено же дословно, хотя можно было использовать аналог:

«...нашел <—> нужный дом и принялся ходить вокруг да около» (12, 188).

При наличии в ПЯ тождественных по смыслу фразеологизмов адекватный перевод трудности не представляет.

«Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до ста восьмидесяти пяти сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением» (12, 19). Переведено полным эквивалентом (стр. 23).

Частичным эквивалентом (том 6, стр. 319—320) переведен следующий оборот.

«Мы относимся к вам по-человечески, платите и вы нам тою же монетою. <—> — Платить надо. Платите, говорит, братцы, монетой...» (Ч-8; 368—369)

д) Для передачи значения семантически обновленных фразеологизмов обычно используются фразеологизмы-аналоги соответствующего значения, иногда переводчики прибегают к способу видоизмененных калек; возможен прием использования контекстуальной замены и др.

«...либо он меня под дыхало саданет рогами, и поминай как звали дедушку Щукара!» (Ш-2, 209)

«...ja vana Stšukar ongi omadega läbil» (587)

Перевод сделан способом контекстуальной замены.

«Какая, однако, здесь глушь! — <—>. — Ни кола ни двора» (Ч-3, 500). Переведено также контекстуальной заменой:

«Inimesest pole kihku ega kahku» (2, 225) — «[о человеке] ни слуху ни духу».

«Хоть бы гостей *нелегкая принесла*» (Ч-3, 249). Переведено калькой (том 2, стр. 47).

Конечно, если возможно, используются фразеологические эквиваленты, что позволяет авторский прием семантического обновления оборота передать тождественным образом.

«*Я, говорит, родился между молотом и наковальней*». Этим он хотел подчеркнуть, что его родители были кузнецы» (Зт, 642; эквивалентный перевод стр. 611).

е) Частый прием — использование фразеологического образа в необычном словесном оформлении. Адекватный перевод возможен, если в ПЯ имеется соответствующий фразеологизм, который может быть аналогичным образом модифицирован.

«... *яйцам приходится учить зарвавшуюся курицу...*» (12, 177; перевод 173).

«... *стулья нужно ковать, пока они горячи*» (12, 187; перевод стр. 183).

«... на перекрестках, <——> где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать» (Зт, 330; перевод стр. 321).

Если же в ПЯ фразеологическое соответствие отсутствует, возможность перевода во многом зависит от контекста. Иногда допустимо калькирование, иногда приходится переводить описательно, хотя при этом не всегда удается сохранить момент обновления исходного оборота.

«*Богу свечка, ваялю и черту кочергу!*» (Ч-7, 352). Перевод сделан с помощью кальки, что себя в контексте оправдывает (том 5, стр. 351).

«... *мягко стелет, а какво спать будет?*» (Ш-2, 14); перевод описательный, стр. 383).

Остаются неперевоенными (если в ПЯ отсутствует фразеологический эквивалент или аналог) выражения, в составе которых содержится лишь намек на существующий в ИЯ фразеологизм. Обычно это весьма тонкая словесная игра. Так, в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова:

«Хватит с нас триумфов, пальмовых ветвей и бесплатных обедов на постном масле» (Зт, 396).

У читателя возникают ассоциации с оборотом *чепуха на постном масле*. Лишенный возможности продолжать пользоваться бесплатными обедами и торжественными приемами Остап Бендер делает вид, что это его уже не интересует, тем более, что, по его же выражению, «идея себя изжила». Переведено дословно (стр. 383); сохранилось только прямое, непосредственное значение высказывания.

«— Вот, — вымолвил, наконец, Остап. — Судьба играет человеком, а человек играет на трубе» (Зт, 544).

Каламбур «подавленного утратой саквояжа», ставшего нищим Бендера построен на фразеологизме *вылететь в трубу* и на многозначности слова *труба*. Перевод дословный (стр. 520), что

делает смысл фразы непонятным для читателя; весь эффект тонкой словесной и смысловой игры бесследно утрачен.

ж) Оказывается, что с трудом поддаются сохранению при переводе на эстонский язык словообразовательные модификации фразеологических оборотов. Дело в том, что обычно это — деминутивные формы, нехарактерные для эстонской речи. Таковы следующие примеры: «...дай бог здоровычка...» (12, 20; перевод стр. 24); «—Ежели б ему крылышки не резали...» (Ш-1, 107; перевод стр. 115). Фактически это потенциальные языковые варианты русских фразеологизмов: деминутивные формы, как известно, весьма продуктивное явление в русском языке, чего никак нельзя сказать об эстонском; отсюда и трудности при переводе этих явлений на эстонский язык. Наиболее значительна утрата в подобных случаях там, где словообразовательное изменение оборота в ИЯ приводит к словесной игре, дающей определенный стилистический эффект. Например, Остап Бендер говорит Ипполиту Матвеевичу: «Не будьте божьей коровой» (12, 83), что переведено буквально: «Ärge olge lepatriini!» (84). Эстонское же слово *lepatriini* вообще не имеет переносного значения, в итоге все высказывание для эстонского читателя утратило смысл.

Можно было деминутив ввести в состав фразеологического аналога в следующем случае (Остап Бендер выговаривает мадам Грицацуевой): «— Вот что, девушка: зарубите на своем носике...» (12, 228; перевод стр. 223): в ироническом контексте эстонский язык более «терпим» к деминутивам.

Своеобразие исходного фразеологизма можно было сохранить и во фразе «Не суй носяку» (Ш-1, 247; перевод стр. 265), например, введением в контекст малоупотребительного разговорного слова *nospele*.

з) Обычно не удается при переводе на эстонский язык сохранить эллиптические формы исходного русского фразеологизма. Эстонскому языку по самой его природе эллиптичность менее свойственна, чем русскому (10, 351). Поэтому переданы полными формами эстонских оборотов, например, следующие русские фразеологизмы: «Как сказал он мне это, меня точно кто обухом...» (Ч-2, 241; перевод том 1, стр. 282); «Чтоб поученей казаться и пыль пустить...» (Ч-3, 435; перевод том 2, стр. 185). Эллиптические формы, а вместе с тем лаконичность исходной фразы удастся сохранить в редких случаях:

«Так у него вся душа в пятки...» (Ч-4, 430)

«Nii oli tal kohe süda saapasääres...» (3, 134)

и) Весьма трудный случай — необходимость передачи нарочитого фонетического искажения фразеологизмов.

«Воленс-неволенс, но я должен поставить новые условия» (12, 208). «— Ближе к телу, как говорит Мопассан» (12, 87).

В первом случае в переводе нет индивидуального видоизменения фразеологизма (переведено исходным *volens-volens*,

стр. 203), второй перевод дословный (стр. 88), одновременно оказывается утраченной словесная игра. Своеобразие исходного текста, а тем самым и манера речи Остапа Бендера, не лишённого определённого остроумия, может быть передана только посредством компенсации, возможно, в каких-то других отрезках текста.

В заключение хочется привести примеры, где переводчику удалось адекватно передать словесную игру, построенную на использовании фразеологизмов.

«*Pan или пропал. Выбираю пана, хотя он и явный поляк*» (12, 285).

«*Kas käsi kullas või kere mullas. Valin kulla, ehkki see on kapitalismi igand*» (277).

Здесь творчески использован эстонский аналог («либо рука в золоте, либо тело в земле. Выбираю золото, хотя это и пережиток капитализма»).

«— Ну хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, — ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это.

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил арестант. <——>. Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:

— Я могу перерезать этот волосок.

— И в этом ты ошибаешься, <——>, возразил арестант. — Согласись, что перерезать волосок уж, наверно, может лишь тот, кто подвесил?

— Так, так, <——>. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо» (Б-1, 20).

Вся эта сложная игра строится на двух фразеологизмах, на переключении с компонента *висеть* на компонент *подвесить*. Переходу от одного фразеологизма к другому предшествует целый диалог, на протяжении которого фразеологизм в изменённом виде переходит от одного собеседника к другому по схеме: первый фразеологизм — 3 модификации его — второй фразеологизм. Переводчику в полной мере удалось это сохранить (в репликах дано даже четыре модификации первого оборота). Обыграны фразеологизмы *juuksekarva otsas rippuma* («висеть на волоске») и *juuksekarva lõhki ajama* («раздваивать волосок», в значении 'быть точным до мельчайших подробностей', в данном контексте — 'быть последовательным, логичным до конца в споре' (перевод стр. 27).

Итак, возможности передачи русских фразеологизмов фразеологизмами эстонского языка варьируются, по нашим наблюдениям, весьма значительно, примерно в пределах 45—80% от общего числа русских оборотов. Подчеркнем еще раз, что верхняя граница (80%), по-видимому, должна рассматриваться как возможность скорее теоретическая. Многое при этом зави-

сит от характера использованных писателем фразеологизмов, а также от мастерства переводчика, об этом говорит и значительная амплитуда колебаний процентуальных данных. Возможности контекстуальной замены незначительно увеличивают этот процент.

Трудность подбора необходимого соответствия возрастает вместе со степенью расхождения фразеологизмов в двух языках по образной структуре — от полных эквивалентов к абсолютно различным по внутренней форме оборотам — межъязыковым синонимам. Но трудности усугубляются тем, что адекватный перевод не всегда достигается простым применением фразеологического соответствия, и это даже там, где в ПЯ имеется фразеологический эквивалент или аналог весьма близкой внутренней формы: необходимо сохранить исходную стилистическую и эмоциональную окраску высказывания, его экспрессивность, образность, а это не всегда автоматически сопровождает смысловое тождество оборотов ИЯ и ПЯ. Иногда оказывается релевантной определенная конкретная внутренняя форма исходного оборота, немаловажны такие моменты как степень стертости/«свежести» фразеологического образа, обычность, привычность, употребительность фразеологизма или, наоборот, его яркость, необычность. Именно недостаточное внимание к этим моментам — наиболее частая причина неадекватности или неполной адекватности перевода текстов, содержащих фразеологизмы. Всегда необходимо учитывать особенности контекста, ситуации: контекстуальные условия могут требовать отказа от непосредственного фразеологического соответствия ПЯ и использования фразеологизма иного значения или даже нефразеологического перевода. Действительно: «Всякий идиом чужого языка для переводчика — задача» (4, 112). Тем более изобретательности и мастерства требуют от переводчика безэквивалентные фразеологизмы. И все же общий наш вывод: переводческие потери могут быть сведены к минимуму. Конечно, не все обусловлено только опытностью и изобретательностью переводчика: хотя нет непереводаемых текстов, как пишет Л. С. Бархударов, «существуют непереводаемые частности» (2, 221). Тем не менее, наблюдения показывают, что вполне приемлемые результаты в известных условиях может дать калькирование, особенно творческое (т. е. интерпретация), а не буквальное. Дает неплохие результаты и перевод свободным словосочетанием, а также лексическим эквивалентом, при условии сохранения необходимых экспрессивных и стилистических компонентов исходного текста, что в целом в значительной степени восполняет утрату фразеологичности. К аналогичным выводам приходит Ю. П. Гольцекер: «Анализ ряда переводов убеждает в том, что отсутствие в языке-рецепторе фразеологических эквивалентов УС подлинника не приводит неминуемо, <—>, к потере образности,

присущей оригинальному художественному произведению» (5, 58).

Наиболее трудный случай — авторские видоизменения оборотов ИЯ. Не представляют из себя сколько-нибудь серьезной трудности для переводчика лишь те из них, которые имеют фразеологическое соответствие в ПЯ, допускающее аналогичное обыгрывание, в других случаях, как правило, требуется максимум изобретательности и находчивости, чтобы сохранить нужный стилистический эффект. Нередко для этого требуются поиски возможностей компенсации, чтобы сохранить то, что по объективным причинам не может быть передано непосредственно. Особенно важно это там, где авторские модификации — особое стилистическое средство в подлиннике, используемое с конкретной художественной целью.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. М. Аврасин, Л. С. Бендаржевская. К характеристике адекватности перевода фразеологизмов. — «Некоторые вопросы романо-германской филологии», вып. IV, Челябинский пед. институт, 1969.
2. Л. С. Бархударов. Язык и перевод. М., 1975.
3. И. А. Бородянский. Перевод окказиональных фразеологических единиц и контекст (на материале английского языка). — В сб.: Теория перевода и научные основы подготовки переводчиков. Материалы Всесоюзной научной конференции, ч. I, М., 1975.
4. Нора Галь. Слово живое и мертвое. М., 1975.
5. Ю. П. Гольцекер. К вопросу о методах определения адекватности перевода устойчивых сочетаний (на материале русских переводов польской художественной прозы). — Труды Самаркандского гос. университета имени А. Навои, Новая серия, вып. 248. Исследования по русскому и славянскому языкознанию, IV, Самарканд, 1973.
6. Л. П. Ефремов. Лексическое и фразеологическое калькирование. — Труды Самаркандского гос. университета имени А. Навои, Новая серия, вып. 106. Вопросы фразеологии, Самарканд, 1961.
7. Я. И. Рецкер. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.
8. Л. И. Ройзензон, Ю. Ю. Авалиани. Современные аспекты изучения фразеологии. — В кн.: Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе, Вологда, 1967.
9. Л. И. Ройзензон, С. И. Ройзензон. Об одном случае перевода фразеологизмов. — В сб.: Теория перевода и научные основы подготовки переводчиков. Материалы Всесоюзной научной конференции, ч. II, М., 1975.
10. Otto S a m m a. Tüüpilestest puudustest ja vigadest proosa tõlkimisel vene keelest eesti keelde. — «Looming», 1954, № 3.
11. Maja Sz y m o n i u k. О переводе романа Булгакова «Мастер и Маргарита» на польский язык. — *Annales universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F, vol. XXIII/XXIV, 10 Instytut Filologii Obcych UMCS, Lublin, 1968/69.*
12. F. V a k k. Suured ninad murdsid päid... Tallinn, «Valgus», 1970.

ТЕКСТЫ

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Первая книга. — «Москва», 1966, № 11.

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Вторая книга. — «Москва», 1967, № 1.

Илья Ильф и Евгений Петров. Двенадцать стульев, Золотой теленок: Киев, «Радянський письменник», 1957.

А. П. Чехов. Собр. соч. в двенадцати томах. Тт. 1—8. М., ГИХЛ, 1954—1956.

Михаил Шолохов. Собр. соч. в девяти томах. Т. 6. Поднятая целина, книга первая. М., «Художественная литература», 1966.

Михаил Шолохов. Собр. соч. в девяти томах. Т. 7, Поднятая целина, книга вторая. М., «Художественная литература», 1967.

Mihhail Bulgakov, Meister ja Margarita. Tallinn, «Eesti Raamat», 1968.

Ilja Ilf, Jevgeni Petrov, Kaksteist tooli. Kuldasikas. Tallinn, ERK, 1962.

A. P. Tšehhov, Valitud teosed kaheksas köites. Novelle ja jutustusi. I—VI köide. Tallinn, ERK, 1960—1963.

M. Solohhov, Üleskõntud uudismaa. Tallinn, «Eesti Raamat», 1975.

ОГЛАВЛЕНИЕ

М. А. Шелякин. К вопросу о методологических основах системно-структурного описания грамматических категорий (1)	3
Б. М. Гаспаров. Введение в содиограмматику	24
Э. А. Флоренская. К построению классификации сложного предложения	46
В. Щаднева. Синтаксическая модальность и инфинитив	61
А. Родима. К вопросу о способах оформления высказывания в детской речи	71
В. В. Мюркхейн. Об оформлении родовой принадлежности имен существительных в русских говорах Эстонской ССР	92
П. С. Сигалов. История русских пердуративных глаголов	101
О. Вески. Изучение интерфиксов русского языка в синхронном и диахронном аспектах (на примере интерфиксов -ш- и -j-)	119
Ю. С. Кудрявцев. Отражение напряженных редуцированных гласных в Успенском сборнике	136
Э. А. Вайгла. Из наблюдений над переводом русской фразеологии на эстонский язык	143

Ученые записки Тартуского государственного университета. Выпуск 425. Труды по русской и славянской филологии XXIX. Серия лингвистическая. На русском языке. Тартуский государственный университет. ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 18. Ответственный редактор М. Шелякин. Корректор Н. Чикалова. Сдано в набор 4. III 1977. Подписано к печати 11. VII 1977. Печ. листов 10,75. Учетно-изд. листов 10,62. Бумага печатная № 2 60×90 1/16. МВ-00293. Заказ № 1173. Тираж 500. Типография им. Ханса Хейдеманна. ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли 17/19. II. Цена 1 руб. 60 коп.